Библиотека Всемирной Литературы

Повесть о прекрасной Отикубо
Записки у изголовья
Записки из кельи

Камо-но Тёмэй

Повесть о прекрасной Отикубо. Записки у изголовья. Записки из кельи (сборник)

«ФТМ»
«Эксмо»

Тёмэй К.

Повесть о прекрасной Отикубо. Записки у изголовья. Записки из кельи (сборник) / К. Тёмэй — «ФТМ», «Эксмо»,

ISBN 978-5-699-71865-8

В книгу включены знаменитые произведения японской классической литературы X–XIII вв.: занимательная «Повесть о прекрасной Отикубо», в основе сюжета которой – сказка о злой мачехе и нелюбимой падчерице, собрание дневниковых замет придворной дамы Сэй-Сёнагон «Записки у изголовья», философское повествование «Записки из кельи» Камо-но Тёмэя, а также «Записки из беседки над прудом» Ёсисигэ-но Ясутанэ.

ISBN 978-5-699-71865-8

© Тёмэй К.
© ФТМ
© Эксмо

Содержание

Очарование печалью вещей 6
Повесть о прекрасной Отикубо 17
Часть первая 17
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Камо-но Тёмэй, Сэй-Сёнагон, Ёсисигэ-но Ясутанэ Повесть о прекрасной Отикубо. Записки у изголовья. Записки из кельи

Комментарии *В. Марковой, Н. Конрада, В. Сановича*

© Сумм Л., вступительная статья, 2014
© Маркова В., перевод на русский язык. Наследники, 2014
© Конрад Н., перевод на русский язык, комментарии. Наследники, 2014
© Санович В., перевод на русский язык, комментарии, 2014
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Очарование печалью вещей

Весною – рассвет.

Все белее края гор, вот они слегка озарились светом. Тронутые пурпуром облака тонкими лентами стелются по небу.

Летом – ночь.

Слов нет, она прекрасна в лунную пору, но и безлунный мрак радует глаза…

Осенью – сумерки.

Закатное солнце, бросая яркие лучи, близится к зубцам гор. Вороны, по три, по четыре, по две – спешат к своим гнездам, – какое грустное очарование!..

Пару лет тому назад кто-то из поклонников Сэй-Сёнагон затеял симпатичный эксперимент: на протяжении года публиковал в «Живом Журнале» «Записки у изголовья» (их как раз триста с небольшим), начав с этой, самой первой записи («Весною – рассвет») и вплоть до последней, где бывшая фрейлина повествует о том, как ей досталась в подарок стопка бумаги наилучшего качества и как исписанная ее беглыми заметками тетрадь случайно попала в чужие руки и стала достоянием публики, стала книгой на все времена.

Френды у японской писательницы подобрались столь же пестрые, как аудитория ее книги. Для кого-то «Записки» стали подлинным открытием (однако и эти читатели догадывались, что перед ними отнюдь не новинка), но большинство, конечно же, давно знали и любили Сэй-Сёнагон. Они просто не смогли отказать себе в удовольствии прочесть ее текст вновь как в первый раз. Такого эффекта живого присутствия, непросохших чернил не даст нам, пожалуй, никакая другая книга. Много ли мы знаем текстов, которые можно прочесть вторично, как будто читаешь впервые? И уж вовсе нет подобных «Макура-но соси», которые можно читать, словно только что написанные. А перед нами лирический дневник, которому тысяча лет, который даже в его родной стране большинство читателей познает в современных комментированных переводах, мы же – и вовсе через посредство совершенно иного языка, в чуждой графике.

Сэй-Сёнагон золотым ключиком отпирает для нас японскую прозу тысячелетней давности. И входя в эту прозу с ее разнообразными жанрами – записки, дневники, мемуары, сказочные и придворные романы, – мы благодарны тем, кто на другом конце Земли, в такой глубине времен, словно бы ждал нас, терпеливо и сочувственно примеряясь и к нашим понятиям, к нашим потребностям.

Удивительное свойство старинной японской прозы (обретенное и современными японскими писателями) – ее безобманность. Никогда не разочарует наших ожиданий: в меру далека и удивительна, чтобы увлечь (о да, эти авторы сочувствовали законному праву читателя на удивление, наивный детский «интерес»), и так «похожа», так родственна, что дух захватывает. Эти книги читаются на двух уровнях – непосредственного впечатления (облака, рассвет, светлячки, вороны, хорошая бумага, шелковый наряд) и прозреваемой за всем сути: непреложного единства человеческого рода, всего сотворенного. Близость далекого, тем более ошеломляющая, что и свое-то подчас ускользает. Наверное, лишь в таком совпадении с «далеким» и удается обрести «свое».

Весь круг понятий, внутри которого мы определяем себя, – Запад, Европа, белый человек, христианство (будь то Святое Писание или восходящая к христианской этике система ценностей), индоевропейская группа языков, литературная традиция, уже не то чтобы классическая, но и не без античности, – все это не так уж ригористично и жестко. Проницаемость границ и полицентричность стали сущностной характеристикой европейской (в нынешнем ее смысле) цивилизации. Европа восприимчива, ее очертания пластичны. Внутри нашей истории

ареал «ойкумены», обжитого мира, ее Восток и ее Запад смещались неоднократно самым причудливым образом. У Борхеса, европейца из европейцев (в какую еще категорию зачислить аргентинского потомка англичан, итальянцев и евреев?), имеется поучительное эссе на тему «концепции Востока», где он напоминает, что для античности «Западом» была, к примеру, Северная Африка (наш Восток, ибо часть исламского мира), а Малая Азия находилась намного ближе к «центру». Мы склонны относить к политическому «Западу» Израиль, Турцию, а порой и Японию (почему бы не взглянуть на карту с другой стороны?), в то время как мусульманский Ближний Восток все более удаляется от нас.

Древний Египет, Междуречье, Персия, Индия – все они так или иначе соприкасались и с началами нашей истории, и с античностью, и со Средневековьем. Даже Китай дотянулся до Рима всполохом яркого шелка, упомянутого Вергилием и замеченного зорким аргентинским слепцом. Но Япония, да еще средневековая, остается за пределами этих концентрических кругов. На протяжении столетий и тысячелетий водораздел – Индия и Иран. К Европе Индия обращена санскритом, общностью арийской расы, мечтой всех путешественников и завоевателей от Александра Македонского до Наполеона. К Вьетнаму, Корее, Японии, собственно Дальнему Востоку Индия обращена другой своей стороной, через посредство Китая. «В ту сторону» из Индии распространяется буддизм, который почти не затронул нас, покуда не вернулся «с другой стороны», через Америку.

Япония отделена от Европы не только географически: она и хронологически отсутствует в нашей истории. Ее не было ни на заре нашей цивилизации, ни в пору античности, к которой мы себя возводим, ни у истоков нашей эры. Это не шовинизм: Япония отсутствовала не оттого, что бледнолицые варвары забыли отметить ее на своих картах, она действительно включилась в мировую историю существенно позже. Если после «Записок» немыслимо современной Сэй-Сёнагон заглянуть в энциклопедию всемирной литературы, оторопь возьмет: разворачивается слева направо таблица мировых литератур, вот за тысячелетия до нашей эры Египет, вот Индия, вот подтягиваются Китай и греки, иранская, то бишь персидская, литература и Рим, вот уже и армяне, и корейцы, а Японии попросту нет. Ее история, ее литература начнутся лишь в ту пору, когда в Западной Европе отсчитывается Средневековье, когда почти все уже состоялось и многие сошли со сцены.

Как же удалось Японии за считанные столетия пройти тот путь к прозрачному тексту, который европейская проза и в два с половиной тысячелетия не вполне осилила?

Быть может – и в этом первый из японских парадоксов, а дальше нам их предстоит немало – как раз позднее появление «на карте» и сознание собственной провинциальности сыграли японцам на руку. Их литература оказалась столь открытой, потому что сами они спешили открыться, и мы с такой легкостью воспринимаем их, потому что сами они жадно впитывали все, что могли дать более древние культуры.

До встречи с цивилизациями Китая и Кореи Япония еще не имела собственной письменности и организованной религии (синтоизм в тогдашней его форме недалеко ушел от шаманизма), не сложилась центральная власть. С VI века начинает укрепляться заимствованное из Китая учение индийского царевича Гаутамы, в японских храмах провозглашались имена индийских божеств, искаженные дважды: на китайский, а затем на японский лад. Словно чудом за два-три поколения страна переходит от племенного строя к государству, от вождей и шаманов – к небесному императору, от изустных преданий и песен – к сложной письменной культуре. Китайская (танская) медицина, математика, законодательство, поэзия и придворный церемониал – все перенималось с жадностью. К началу VIII века Япония стала единым государством с разветвленной системой придворных и правительственных чинов, с официальной церковью. Параллели между японским и европейским Средневековьем бросаются в глаза, но тем явственнее проступают отличия и тем очевиднее японское чудо: начав переход к органи-

зованным формам государства и религии позднее, чем большинство европейских народов, в эпоху Нара Япония заметно опережала наш VIII век.

Централизация положила конец частым переменам столицы (едва ли не с каждым новым правителем). На восемьдесят лет двор обосновался в Наре, давшей название раннему японскому средневековью. К 795 году выстроили дворец на месте современного Киото и положили начало новой эре Хэйан («мир и покой»), продлившейся без малого четыре столетия. Это уже высокое Средневековье: IX век и рубеж X – оформление сказочных романов («Повесть о прекрасной Отикубо» и «Повесть о старике Такэтори»), чуть позже – дневники («никки»), от которых ответвляется жанр свободных записок («дзуйхицу»), на рубеже X и XI века Сэй-Сёнагон пишет свои заметки, а другая фрейлина, Мурасаки Сикибу – многотомный сериал «Повесть о Гэндзи».

Но и высокое Средневековье пронизано памятью о своих первоначалах, о праздничном росте молодой культуры, обнаружившей готовые к употреблению формы, традиции, язык. В «Макура-но соси» не притупляется радостный аппетит к чужому, ставшему своим, к старому, которое узнается и переживается заново (хотя прошло уже несколько столетий). Все эти дайнагоны и куродо шестого ранга, желто-зеленые одеяния и одеяния «цвета вишни», ширмы, веера, залитые слезами широкие рукава – пряность, придающая тексту вкус. Мы догадываемся, что до определенной степени экзотикой, орнаментом было все это и для Сэй-Сёнагон. Автор комментирует происходящее не со снисходительностью – для варваров или ничего не смыслящего простонародья, – а с азартом и любопытством, для тех, кто, подобно ей самой, не во всех подробностях разбирается или рад поговорить о них еще. Легко, даже без разъяснительных примечаний, усваиваются реалии эры Хэйан, они складываются в рисунок повседневной жизни, и повседневность не перестает быть немножко удивительной.

Если бы Сэй-Сёнагон и впрямь была «девушкой из ЖЖ», если бы она писала «в точности как я сама хотела бы написать», текст утратил бы добрую половину своей привлекательности. Именно парадокс узнавания своего в чужом и обживания чужого как близкого притягивает нас в ее заметках. Именно этого ждем мы от японской прозы – близости чужого, удивительности своего.

А значит, дело не только в ученичестве и заимствовании. Японский парадокс основан на сочетании далекого и близкого, на сосуществовании культур.

Один из самых известных японских парадоксов – сосуществование вер. Сохранив синтоизм, веру в богов-предков, соплеменники Сэй-Сёнагон присоединили к синтоизму буддизм, а затем, по мере надобности, конфуцианство и различные направления даосизма. Когда же до Японии в XVI веке добрались португальцы, жители островов десятками и сотнями тысяч принимали христианство, и оно вполне могло бы ужиться со всеми прочими религиями, если бы правительство не приняло решительные меры. Исконная магия, вера в душу слова («котодама-но синко») не вытеснялась официальной религией. Быть может, именно убеждение в непосредственной связи слова и предмета не давало утратить родной язык. Не имея собственной графики, японцы начали писать по-китайски, но, в отличие от средневековой Европы, здесь не понадобилось ждать семь столетий, пока образованные люди перейдут на местное наречие. Японский язык не уходил из литературы даже в пору китайского образования.

В китайской системе образования и экзаменов на чин превыше всего ценились каллиграфия, знакомство со старинной поэзией и умение слагать стихи. От начитанности и поэтического таланта зависела придворная и политическая карьера. Японские вельможи проявили изрядное усердие, и уже в 751 году был издан сборник 64 японских поэтов, писавших на китайском языке («Кайфусо»). На китайском языке были написаны и первые японские мифологические сборники, первые хроники – «Кодзики», «Нихонги». Но само желание писать свою историю, пусть и на чужом языке, говорит о росте самосознания: заимствования не превращали Японию в провинцию Китая, они превращали ее в Японию.

Сосуществование религий, литератур, языков – случай сам по себе не уникальный. В III–II веках до н. э., когда «побежденная Греция победителей диких пленила», на Апеннинском полуострове какое-то время держалась двойная культура: римляне писали о своих деяниях по-гречески и перелагали на родное наречие греческий эпос и театральные пьесы. Можно припомнить и офранцуженность русского дворянства начала XIX века.

По-видимому, двоекультурие приносит благой плод: чуть позже, когда выросшая из такого взаимодействия национальная литература начинает осознавать себя, рождаются общечеловеческие шедевры. Такова римская литература I века до н. э., дивно понятный Катулл, человечные в своих слабостях и своем величии Цицерон и Цезарь, родоначальник собственно европейской поэзии Вергилий, таковы наши Толстой и Достоевский, из самых читаемых авторов в мире (в том числе – в японском мире). И вслед за «Кодзики» и «Нихонги», первыми японскими хрониками, вслед за «Манъёсю», первым поэтическим многотомником, уже растирают тушь в чернильнице авторы давних, но все еще трепетно живых записок и любовных романов.

При всем типологическом сходстве двойных культур, отношения внутри них каждый раз складываются по-другому. Иногда чужой язык служит лишь проводником для своего и быстро им вытесняется, как это произошло в Риме и в России, реже – доминирует столетиями, как в Средние века Европы. Япония и тут ухитрилась совместить крайности: национальная письменность возникает сразу же вслед за чужеземной, но в образованной среде китайский язык долго еще удерживает господствующие позиции. Сферы влияния китайского и японского языка переделяются неоднократно. У Сэй-Сёнагон они представлены двумя списками – «китайские книги и сочинения» (номер 204 в ее «Записках») и «романы» (номер 205). Китайские книги, с точки зрения Сэй-Сёнагон, – это сборники поэзии, исторические хроники, «моления богам и буддам», «прошения императору», «сочинения на соискание ученой степени». Романы же японские – Сёнагон не видит смысла обращаться за этим жанром к иноземным учителям. Вот что придавало романам дополнительный интерес – жанр свежий, исполняемый самостоятельно, со всем азартом новизны и хотя бы частичной свободы от правил.

В китайском списке историк и поэт названы по имени, а дальше анонимно перечислены моления, прошения, диссертации и «синьфу» – прозаические поэмы. И никаких комментариев – нравится, не нравится, что лучше, что хуже. Дано – и все тут. В японском списке романы обозначаются названиями. Авторы не указаны; судя по количеству названий (а на дворе только-только занимается XI век), по кратким характеристикам («наводит скуку», «мне нравится это место», «плохой роман», «увлекательно»), это вполне сложившийся жанр любовного и преимущественно аристократического романа. Чтиво, «ширпотреб», хотя и в пределах избранного круга образованных дам той эпохи. Что-то узнаваемо милое слышится в том, как Сэй-Сёнагон взахлеб перечисляет названия: до авторов, даже если она их и знала, ей дела нет, важны лишь ситуации, повороты сюжета, чудо увлекательного чтения или разочарование. Это – читательский список. Китайские образцы формировали специалистов – ученых, монахов, придворных поэтов, знатоков прекрасного. Японская литература породила нетерпеливого, порой наивного и все же хорошо знающего свои права читателя.

И в этом мы с Сэй-Сёнагон опять-таки похожи. Нас не пугает то обстоятельство, что люди в иную эпоху или в другой стране писали не так, как пишут сегодня. Не пугает (хотя огорчает), что сейчас, рядом с нами, пишут не так, как хотелось бы написать или прочесть. Если кому-то (сейчас или давным-давно) пришло в голову написать текст, на мой личный вкус неимоверно сложный, занудный, физиологически противный или пустопорожний, ничего страшного: понятно, что автор получил удовольствие от процесса. Но когда нас убеждают, что вкусы в другой культуре или в одной из нынешних субкультур отличаются от наших до такой степени, что люди охотно, по доброй воле, читают книгу, которая нас утомляет или отталкивает, стано-

вится жутковато: неужели мы настолько разные, неужели нам никогда не понять друг друга? Спасибо Сэй-Сёнагон – ее список романов свидетельствует, что просто читатели (в отличие от писателей) во все времена достаточно похожи. Им безразличны писательские ухищрения, они судят и рядят об увлекательном и скучном, и, в конце концов, говоря о романе, обходятся всего двумя эпитетами – хороший или плохой. Еще и поэтому имена авторов опущены – так и мы читаем «Преступление и наказание», «Унесенные ветром», «Эмму» или «Манон Леско», а не Достоевского, Джейн Остен или – вот и выпало имя автора.

Но два списка Сэй-Сёнагон отнюдь не исчерпывают литературу эры Хэйан. Все было бы просто, если б на китайском писали только религиозные и научные тексты (как латынь – язык религии и науки), а за художественными произведениями закрепился японский язык. Однако фрейлина перечисляет только романы. Куда – и по каким признакам – отнести дневники, записки, ее собственные заметки-«дзуйхицу»? Что происходит в поэзии? Почему знание китайских сборников все еще требуется наряду с изучением японских авторов? И почему на поэтическую загадку – две строчки на китайском – Сёнагон ухитряется ответить по-японски? В ситуациях европейского двуязычия было бы сложно продолжить французское двустишие русским или греческое – латинским (баловались, конечно, макароническими стихами, но вряд ли их можно считать нормой высокой поэзии). В нашем случае это возможно, поскольку оба языка пользуются одинаковой графикой, причем графикой нефонетической. Алфавит сразу позволяет опознать звуковой и грамматический строй языка, но как определиться с чтением иероглифов? Собственно, когда мы говорим, что первые хроники были написаны по-китайски, подразумевается, что они были записаны китайскими иероглифами еще в неизменной форме и без знаков, подсказывающих японское чтение. Но и при такой записи образованный японец мог «озвучить» текст на родном языке. Постепенно к заимствованным иероглифам добавлялись новые или придавался иной смысл знаку, но по-прежнему оставалась возможность двойного прочтения, словесной игры, соревнования в эрудиции и утонченности. Даже стихи можно было прочесть и так, и эдак, тем более что важнее фонетики казалась система образов, параллели между состояниями природы и человека, тот отклик, который вызывала в душе читателя краткая, выразительная зарисовка.

И опять «свое» начинает влиять на заимствованное, вызывая серьезные изменения в самой оболочке языка – в графике. Поэзия бытовала изустно задолго до того, как начали пользоваться иероглифами, и уже в фольклорных жанрах установилось чередование пятисложных и семисложных строк, на котором строится знаменитое пятистишие – танка (5-7-5-7-7). Чтобы метрика работала, стихотворение обязательно читать на родном языке, точно произнося названия рек и гор, имена (как же без них в поэзии). Кроме того, японский язык более «грамматический», нежели китайский, многие отношения в нем передаются не порядком слов, а суффиксами, окончаниями, и эти отношения будут неверно поняты в стихотворении с его гибкой и сложной расстановкой слов, если никак не обозначить грамматические формы.

С такими проблемами пришлось иметь дело составителям поэтического сборника «Манъёсю». Двадцатитомник, включавший в себя фольклор далеких провинций, профессиональные песни (рыбаков, стражников), стихотворения поэтов IV–VII веков и творения современных авторов (многие из них участвовали также в «Кайфусо»), был составлен из желания показать, что «у нас не хуже, чем в Китае», и в заметной степени по китайскому образцу. Китайским губернаторам предписывалось коллекционировать местный фольклор, а для японских составителей фольклор представлял новые трудности: как передать фонетические отличия, скажем, диалекта восточных провинций? В результате иероглифы приходилось использовать не только идеограмматически (знак = смысл, с допустимыми вариантами чтения – китайского или японского), но и фонетически (иероглиф произносится покитайски или по-японски, но используется не как обозначение понятия, а как слог, часть обозначаемого японского слова).

Чтение превращалось в разгадывание ребуса: каждый раз приходилось соображать, какое произношение требуется, японское или китайское, целиком ли брать обозначенное иероглифом слово или только его часть. Знаки, обозначающие слова, стали использоваться для обозначения первых звуков или слогов этих слов. Так исторически возникают фонетические алфавиты. В Японии процесс шел затейливее, чем в иных знакомых нам культурах, благодаря обилию знаков, из которых можно было выбирать, да еще вариантам чтения, японскому и китайскому. Но все-таки сборник дал Японии первую оригинальную систему записи (так и названную «манъёгана», от «Манъёсю»), а из манъёганы произошла слоговая азбука – хирагана. Хирагана впустила в японскую литературу женщин.

Как правило, благородных девиц учили только начаткам китайского (они были знакомы с китайской поэзией и религиозными текстами, сутрами), а если женщина разбиралась в этих премудростях несколько лучше, как наша Сёнагон, ей было чем гордиться. Мужчины и в X веке предпочитали доказывать свою образованность, пользуясь китайским языком и близкими к исконным иероглифами («мужское письмо», онодэ), а для женщин китайская грамота считалась слишком сложной, и возможность писать женщины получили только с введением слоговой азбуки хираганы, снисходительно именовавшейся «женским письмом», «оннадэ». Соответственно, литература на хирагана считалась «женской». «Женскими», «сниженными» и легкомысленными, были и ее жанры – «моногатари» (роман, буквально – «вещи говорят» вместо мифа и анналов, где говорят боги; записки, «дзуйхицу», буквально – «вслед за кистью», а если не так изящно, выходит – что в голову взбредет).

Женственна, лирична интонация этой литературы, с подробными описаниями природы и нарядов, со сплетнями о любовных переживаниях и приключениях. Трудно поверить, чтобы к нежной «Повести о прекрасной Отикубо» не притронулась женская рука, и, поскольку имена ранних писателей не сохранились, принадлежность этих произведений к «женским» определяется не полом неизвестного автора, а спецификой жанра. Великие современницы – Сэй-Сёнагон и Мурасаки Сикибу, автор «Гэндзи-моногатари» закрепили представление о женских жанрах.

У Сёнагон придворные романы отнесены к разряду «японских», а значит, опять-таки «женских» книг. И в этом, возможно, еще одна причина их анонимности: женщина из высших слоев общества не имела устойчивого имени. Постоянное личное имя было у служанки – например, Акоги в «Прекрасной Отикубо». Но девушка или женщина в знатной семье называлась по отведенным ей покоям («госпожа из северных покоев» – законная жена; «госпожа нефритового павильона» – пользующаяся уважением наложница; несчастная Отикубо – «каморка»). Она могла именоваться по должности отца, мужа или наиболее уважаемого родственника – так наша «Сёнагон» носит титул младшего советника (женщинам чин не присваивался), а ее имя – иероглиф, взятый от родовой фамилии Киёвара. Поскольку придворный и писатель, как правило, совмещались в одном лице (советник и поэт, если это мужчина, фрейлина и прозаик, поскольку речь идет о женщине), в X и XI веке мы встречаем нескольких Сикибу, и это не однофамилицы автора «Повести о Гэндзи», а коллеги из Дворцового управления. Что касается личного имени Мурасаки, здесь опять же мнения расходятся – то ли ее действительно звали Мурасаки и она подарила свое имя главной героине романа, то ли по имени героини стали определять и автора, чтобы отличить от прочих фрейлин.

Конечно, по нынешним меркам положение хэйанской аристократки было довольно стесненным, пожалуй, и несправедливым. Да и не только по нынешним меркам: Сэй-Сёнагон порой не сдержит досаду на свойственную мужчинам (за исключением разве что императора) неразвитость чувств, на их глупое тщеславие, пуще же всего – на этикет, запрещающий даме появляться из-за бамбукового занавеса даже в такой досадной ситуации, когда озорной куродо выхватит из рук непрочитанное письмо и с ним убежит. И все же угнетенная аристократка

извлекает немалые преимущества из своего положения. Она-то понимает, что из-за ширм, из-под вуали, из-за шторок в карете и сквозь все правила и установления женщина видит яснее, зорче, эмоциональнее и осмысленнее – именно потому, что принадлежит этому миру и все же находится как бы вне его уклада. Установившееся, всеобщее, воспринимается ею живо, личностно, порой с восторгом и любованием, порой с недоумением и даже иронией. Наиболее органично в двойной культуре чувствует себя женщина.

Однако японская литература и тут не обошлась без парадокса: основоположником женской прозы стал мужчина, автор «Тоса никки» – «Дневника возвращения из Тоса».

В 930 году поэт Ки-но Цураюки получил должность губернатора Тоса. По окончании пятилетнего срока Цураюки возвратился на корабле в столицу, описав свое путешествие в дорожном дневнике. Вообще-то чиновникам полагалось составлять путевые дневники – отчеты о казенной поездке, выполненном поручении. Об этом Цураюки напоминает в преамбуле: «До сих пор дневники писали мужчины, теперь же попробует женщина». Мистификация выходит достаточно сложная: автор превращается в персонажа («губернатор возвращался в столицу»), а роль повествователя доверяется вымышленному персонажу – вместо губернатора пишет, мол, кто-то из близких, из свиты, и притом – женщина. А поскольку женщина китайскому не обучена, пишет «она» на японском языке и японскими знаками – так возникает первый записанный хираганой прозаический текст, и в нем заложено все то, что с легкой руки Цураюки будет считаться «женским» в японской литературе: родной язык и азбука, меньший кругозор, но больше деталей и – вот что, вероятно, побудило поэта к судьбоносной для истории японской литературы мистификации – интонация примиренной и все же не уходящей печали.

Предполагается, что дневник (в этой замаскированной форме) автобиографичен. Маленькая дочка Цураюки, привезенная им в провинцию из столицы, умерла в Тоса, и дневник начинается с упоминания о той, кто не вернется с родными в столицу, и заканчивается мыслью о ней:

«Среди самых милых воспоминаний – девочка, родившаяся в этом доме. Ах, как это горько, что она не вернулась вместе со всеми».

Горько – и все же воспоминание «милое». Печальное очарование.

Лирическая тема утраты неуместна в деловом мужском отчете; индивидуальный опыт не поддавался передаче на чужой, с точки зрения японцев – устоявшийся, сугубо традиционный язык. (Минует полстолетия, и в «Повести о Гэндзи» Мурасаки скажет: передать глубину чувств возможно лишь «нынешними знаками». Письмена и слова у японцев по-прежнему отождествляются.) Цираюки нужны были новый, гибкий японский язык и женщина, которая могла бы разделить и по-женски передать его переживания (родственница, жена?). Он создал ее сам, вообразил чувства и переживания женщины, показал, каким образом мужчина понимает женщину и как женщина может говорить с мужчиной доступным ему языком. Он научил женщин говорить, причем не только между собой: японский роман рождается из разговора женщин и мужчин. Диалога – конечно, преимущественно любовного, но не только.

В отличие от нашего романа, японский не призывает к отождествлению исключительно с главным героем (как это было в классической литературе) или с героиней, как это происходит в современном «дамском» жанре. Мы можем встать на ту или иную сторону в складывающихся отношениях или же смотреть на мир глазами второстепенного персонажа, какой-нибудь служанки Атоги или ее дружка-меченосца. И это опять же способствует открытости японского романа для современного неяпонского читателя. Если женщины читали больше романов, чем мужчины, то лишь оттого, что располагали большим досугом. По-настоящему образованные люди научились ценить эту прозу. В «Гэндзи-моногатари» главный герой заходит в комнату к любимой девушке и застает ее, неприбранную, забывшую о реальности, с головой погруженную в роман. Слегка посмеявшись над ее увлечением, принц, однако, признает:

«Я напрасно бранил эти книги. Не будь их, что знали бы мы о том, как люди жили в прошлом, начиная с века богов и до наших дней? В исторических книгах вроде “Анналов Японии” (Хитонги) мы находим только одну сторону действительности, а в романах правдиво и достоверно повествуется о самых важных вещах… Сочинитель не в силах замкнуть то, что он пережил, чему был свидетелем, в глубинах своего сердца, он должен поведать об этом другим людям. Так, мне кажется, родилось искусство романа.

Разумеется, романы не могут быть все на один лад. Китайские не похожи на наши, японские; новые романы отличаются от старинных. Есть также разница между серьезным и легким чтением, но утверждать, что все романы – пустые россказни, значит погрешить против истины».

В европейской литературе подобный разговор состоится лишь в XIX веке, в романе Джейн Остен «Нортэнгерское аббатство» – так называемая «апология романа». Заметим, что оправдываются романы в Японии XI и в Англии XIX века на одних и тех же основаниях: умение показать другую «сторону действительности» (характеры людей, причины их поступков, подробности, ускользающие от историков), пестрота и увлекательность (возможность «легкого чтения», варианты на разные вкусы – старинные, новые, отечественные и иностранные книги), а также потребность сочинителя раскрыть свое сердце и тем самым сердца читателей.

Чтение романов, разговор об этом чтении сближает мужчину и женщину, вельможу и бедную «воспитанницу». В «Нортэнгерском аббатстве» также прозвучит мысль, что «легкая» литература, порой отвергаемая «серьезными джентльменами», как раз этим джентльменам в первую очередь и необходима – научились бы вести себя как люди, понимать собственное сердце, а там, глядишь, и разговаривать с женщинами.

Умение проникать в суть повседневных вещей, а главное, способность наладить взаимопонимание самых далеких «цивилизаций»: противоположных полов, старины и современности, заемного и своего – вот в чем сила романа. Потому и возникает роман в японской литературе гораздо раньше, чем в европейской, что японская литература с самого начала осознавала и выстраивала свой коренной парадокс, основу каждой культуры.

Основная точка соприкосновения между «мужским» и «женским», как и в любой литературе, – стихи: японская поэзия тоже знала своих Сафо, женщины-поэтессы рождались на этих островах даже чаще, чем на островах Эллады. И, пожалуй, в Японии поэзия сближает два противоположных пола успешнее, чем в Греции, поскольку в творческом процессе участвуют не только поэтессы (кто знает, может быть, они – прекрасное исключение, лишь подчеркивающее правило), но и читательницы с читателями. Знатного рода мужчины и женщины заучивали наизусть сборники классической китайской и японской поэзии, обменивались поэтическими загадками и посланиями. Как читатели они были равноправны: женщины допускались к чтению китайских стихов, от мужчины требовалось серьезное знакомство с отечественной поэзией. Обмен стихами превратился в тщательно разработанный ритуал; требовалось опознать образец, по которому составлено стихотворение, и адекватно ответить. Нередко поклонник и вовсе набрасывал только начало танка, ожидая от дамы продолжения. Показателен анекдот из личной жизни Сэй-Сёнагон: давний друг решил положить конец их роману, однако назначил последнее испытание: сумеет ли она достойно принять его поэтический вызов. После удачного ответа возлюбленной тюнагон не нашел в себе решимости порвать с ней.

Непростительная грубость со стороны мужчины – после тайной встречи не отправить возлюбленной стихотворное послание, привязанное к ветке сливы. Однако и от дамы требуется, наградив посланца новой одеждой, возвратить с ним равноценный ответ. Обмен любовными посланиями в определенных ситуациях становился столь же обязательным, как для нас – обмен кольцами. Японский брак той эпохи зачастую был гостевым; поутру новобрачный возвращался к себе домой. Не прислать молодой жене стихи с сожалениями о вынужденной раз-

луке – чудовищная оплошность. В «Повести о прекрасной Отикубо» глупец и всеобщее посмешище – «беломордый конек» – мается, пытаясь сочинить хоть что-то «классическое».

А уж какую роль играли конкурсы чтецов и поэтов в придворной карьере, нетрудно понять из дневника Сэй-Сёнагон. Чтобы достойно участвовать в таких состязаниях и поддерживать любовную переписку, женщина должна была ориентироваться в китайской и японской поэзии ничуть не хуже мужчины. Здесь они говорили на одном языке.

Из обмена стихами строился как бы конспект любовного романа и придворной карьеры, с помощью танка отмечались основные события в жизни, подытоживался опыт и размышления. Без них не обходится и окончательно сложившийся на глазах Сэй-Сёнагон аристократический роман, и более наивные и свободные жанры автобиографических повестей, дневников, и ранний полусказочный роман, та же «Повесть о прекрасной Отикубо», и поздние романы, как написанная в XIII веке «Непрошеная повесть». Фактически, если добавить к стихам историю их написания или ситуации, когда они были прочитаны, пояснить чувства автора и адресата, перед нами – готовый роман во вкусе той эпохи. По такому принципу создана в X веке «Исэ-моногатари», якобы художественная автобиография поэта и «кавалера былых времен» (еще одна мистификация). Благодаря стихотворным скрепам японский роман с самого начала обретает ту диалогичность и даже полифоничность, до которой теоретики европейского романа додумались только в XX веке. Танка и ее прозаическое обрамление говорят «об одном и том же», но разными голосами. Чаще всего два голоса – это голос мужской и женский, но порой это голоса двух ценителей поэзии, двух любителей природы или двух людей с утонченными чувствами, которые видят, читают, переживают «одно и то же», но опять-таки – со своими оттенками.

Сопереживание, совместное переживание одного и того же – ключевая тема как дзуйхицу, так и романов.

В сопереживание включены явления природы, растения, предметы. Японская культура менее других повинна в исключительном интересе к человеку в ущерб всему прочему, одушевленному и неодушевленному. Лунная пора и мрак, светляки и вороны – их нужно видеть, ими нужно на мгновение стать, не перестав быть самой собой. Как в религии действует буддистский принцип сочувствия всему живому, так в поэзии и в прозе художественный принцип «моно-но аварэ», «очарования печалью вещей через осознание преходящей сути бытия».

Нетрудно заметить, что и персонажи, и авторы старинных текстов, собранных в этой книге, отзывчивее, чем их европейские собратья. Нашей Золушке сочувствует только фея-крестная, принц же руководствуется не состраданием, а влюбленностью (и кстати, нам ничего не известно о дальнейшей супружеской жизни этой четы: в какой мере они сумеют понимать, принимать друг друга?). Японская Золушка – прекрасная Отикубо – может всецело положиться на свою служанку и молодого оруженосца, и оба они хлопочут не из выгоды, а из естественного сочувствия, связующего всех людей. Молодой вельможа влюбляется в нее заочно, по рассказам этих преданных слуг, любовь начинается с интереса к другому человеку, уважения и опять же сочувствия. И в «Непрошеной повести», где вроде бы основной интерес – половой, более тонкие человеческие отношения, преданность (не прописная, по тому или иному кодексу, а невольная, грустная, как «по человечески» предан изменнице-фрейлине государь) оказываются не менее важными.

«Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо», – провозглашал римский драматург, перенимавший греческие образцы, но там дело не шло дальше любопытства и досужих советов. Похоже, японской литературе человеческое присуще в большей мере, чем прочему человечеству.

Европейские романисты неоднократно сетовали на то, что сюжет принято завершать свадьбой. Лев Толстой чувствовал себя отважным нарушителем правил, когда добавил к «Войне

и миру» эпилог о супружеском счастье, а уж в «Анне Карениной» брак и вовсе разрушается. Но японская «Золушка» отнюдь не кончается свадьбой. Самое интересное только начинается: как муж и жена будут ладить друг с другом, как примут родственников с обеих сторон, а родственники – их, как будут изжиты обиды и комплексы, приобретенные в «исконной семье», какую карьеру сделает муж и как приспособится к этим кардинальным изменениям жена, как появятся на свет, как будут воспитаны и кем станут их дети. Казалось бы, это и составляет насущный интерес в жизни любого человека, но почему-то мы, европейцы, так и не сумели поговорить об этом средствами литературы.

Для нас, а может быть, и для авторов этой прозы, грустное очарование отчасти заключается в хрупкости самой хэйанской культуры. Мы понимаем, что подобная красота устоять не сможет, будет сметена внутренним напором или нашествием извне или погибнет от собственной изощренности, как погибли этруски или марсиане Рэя Брэдбери. Не пройдет и двух столетий, как начнутся распри между могущественными родами, потом – перенос столицы, гражданские войны и военная диктатура.

Власть императоров была несколько декоративной уже в эру Хэйан: всемогущие Фудзивара женили их на своих дочерях, занимали все правительственные посты, предоставляя воплощенному божеству тешить себя изящными искусствами. Для поэзии такое положение дел было весьма полезно, как для истории – не берусь судить. Когда реальную власть захватил военный правитель – сёгун, император и вовсе превратился в фикцию. На престол сажали маленьких детей, а едва они достигали совершеннолетия, их вынуждали отрекаться в пользу младенца-наследника. Ощущение бренности и «ненастоящести» жизни к XIII веку становится всеобщим. Теперь уж записки пишут не у изголовья, в комфорте и праздности, а либо в келье, либо от скуки (точнее – от «чувства ничтожности бытия»). И повесть Нидзё – «непрошеная».

Если сравнить судьбу Нидзё с биографией Сэй-Сёнагон или Мурасаки Сикибу, мы поймем, насколько интереснее, реальнее жила дама эры Хэйан. Пусть за бамбуковым занавесом, но Сэй и ее современницы не были игрушкой мужских страстей, не были так беспомощны в попытках осознать и направить свою жизнь. Беглые заметки у изголовья кажутся более связными, чем нагромождение судьбоносных вроде бы событий в «Непрошеной повести». Император сделал тринадцатилетнюю девочку своей наложницей (дата рождения Нидзё – 1258 год, в год начала повести, 1271, она еще ребенок даже по собственным ощущениям), потом возродилась первая любовь, но тут вдруг родовитый епископ ее возжелал, императрица обозлилась, беременность случилась невовремя, еще какой-то придворный загляделся – а заканчивается все опять же монашеской кельей. Самоизоляцией. Как ни странно, времена грозных самураев отличались каким-то женским страхом, глубоко спрятанной (или подавленной) сентиментальностью (она прорвется в городских повестях XVI века) и желанием укрыться от мира. Частные люди осуществляли это желание, удаляясь в горные монастыри, правительство – строя бамбуковый занавес (женский инстинкт!) вокруг страны.

Но даже в периоды умышленной самоизоляции, когда самурайское правительство потребовало отказа от общения с внешним миром, японская литература не вырождалась в единообразие, в ней всегда играли, складываясь в новые комбинации, элементы иных традиций. Эта генетическая память помогала Японии по прошествии веков вновь раскрываться навстречу иным культурам. Более того, во второй половине XX века, вслед за последним (будем надеяться) и самым страшным разрывом, японские писатели внезапно обнаружили необычайную склонность вживаться в чуждые интонации. А свой опыт отчуждения от мира, приведший их к войне против всех и кошмару Хиросимы и Нагасаки, «закрытые» японцы сумели поведать на языке «других», и мало кому из народов, переживших национальную катастрофу, удалось так внятно и выразительно рассказать о себе миру, добиться такого отзвука.

Если бы японский опыт сводился лишь к политкорректному принятию, ученичеству, он был бы не столь насущен для Европы и для России в особенности. Разделение на «мужское» и «женское», «китайское» и «японское» органически необходимо, поскольку благодаря ему литература в самой себе несет не только опыт принятия, но и опыт отчуждения.

Японская литература многие столетия развивалась отдельно от европейской и иных родственных нам культур; когда же для Европы наступила эра великих географических открытий и встреча двух цивилизаций могла бы наконец состояться, Япония как раз надумала отгородиться от опасных влияний извне. Схождение двух полюсов теперь уже всечеловеческой культуры намечается лишь на излете XIX столетия, и это движение навстречу друг другу (и неизбежное отталкивание) еще отнюдь не исчерпалось. Это больше, чем встреча двух рас, двух культур с несхожими историческими судьбами. И даже появление Пятницы в жизни Робинзона Крузо не столь экзистенциально – к идее дикаря цивилизация уже присмотрелась. По отношению к дикарю «цивилизованный человек» не испытывает страха и злобы, не боится утратить самоидентификацию. Не оберегает свою особость, не постигает ее заново, увидев себя со стороны, и не стремится к познанию другого. Встреча цивилизаций, уже прошедших огромный путь самостоятельного, отдельного развития, всколыхнула и отторжение, и неутолимую потребность друг в друге, взаимную агрессию, яростное желание подчинить, уподобить «их» «себе», и восхищение чужим, страх растворения и преодоление этого страха.

Если когда-нибудь нам повезет отыскать жизнь в космосе, мы припомним тот первый межгалактический контакт. Мы припомним вечернее чтение «Записок у изголовья» или «Прекрасную Отикубо» – японскую «Золушку», столь же убедительное (и более трогательное) доказательство всечеловеческого родства, как предания о потопе у антиподов. Мы вновь раскроем японскую «Манон Леско» – «Непрошеную повесть» Нидзё. И когда волшебный ключик отомкнет для нас далекую во времени и пространстве культуру, мы перечтем поздних, печальных Кэнко-хоси и Камо-но Тёмэя, услышим голоса, которых недостает в нашей традиции, – не обиду на уходящую жизнь, а примиренное желание любоваться опадающими листьями, любить кратковечное, ибо и наше существование бренно, и в нашей смертности – залог родства со всем, что процвело и обречено умереть.

Л. Сумм

Повесть о прекрасной Отикубо

Часть первая

Не в наши дни, а давно-давно жил один тюнагон по имени Минамото-но Тадаёри и было у него много красивых дочерей. Двух старших достойным образом выдали замуж и поселили в роскошных покоях родительского дворца – одну в западном павильоне, а другую в восточном. Двух младших окружили самыми нежными заботами, готовясь в скором времени торжественно отпраздновать обряд их совершеннолетия, когда на девушку впервые надевают длинное мо.

Была у тюнагона и еще одна дочь. В былые дни он иногда навещал ее мать, происходившую из обедневшей ветви императорского рода, но возлюбленная его рано ушла из этого мира.

У законной супруги тюнагона Китаноката – «Госпожи из северных покоев» – было жестокое сердце. Она невзлюбила свою падчерицу, обращалась с ней хуже, чем с последней служанкой, и поселила ее поодаль от главных покоев дворца, в маленьком домике у самых ворот. Звали: этот домик просто «отикубо» – «каморкой», потому что пол у него был почти вровень с землей.

Само собой разумеется, падчерицу не дозволяли величать, как других дочерей, ни высокородной госпожой, ни каким-нибудь другим почтительным прозвищем. Хотела было Госпожа из северных покоев дать ей такое имя, какое годится только для служанки, но побоялась, что мужу это не понравится, и приказала: «Живет она в отикубо – каморке, пусть и зовут ее «Отикубо». Так это имя за ней и осталось.

Сам тюнагон тоже не выказывал особой отеческой нежности к этой своей дочери. С самых ее младенческих лет он был к ней равнодушен, и потому она попала безраздельно во власть мачехи и нередко чувствовала себя одинокой и беззащитной.

На всем свете не было у нее ни родных, ни близких, ни даже кормилицы, никого, кто мог бы послужить ей опорой в жизни, кроме одной молоденькой служанки. Служанка эта, бойкого ума девица по прозванию Усироми, ходила за ней еще при жизни ее матери. Обе девушки от всей души жалели друг друга и не разлучались ни на одно мгновенье.

В красоте Отикубо не уступала своим холеным и балованным сестрам, но на людях она не показывалась, и потому свет о ней ничего не знал.

Чем старше становилась Отикубо, чем больше входила в разум, тем сильнее страдала оттого, что жизнь к ней так немилосердна и что на долю ее выпадают одни только горести. Она жаловалась на свою судьбу в песнях, всегда таких грустных. Вот одна из них:

Каждое новое утро
Новой бедой грозит,
Новой обидой ранит.
Что мне сулит этот мир?
В чем я найду отраду?

Девушка всегда была печальна. Ее грустный вид без слов говорил о том, как глубоко она чувствовала людскую несправедливость.

От рождения Отикубо была наделена светлым умом и многими талантами. Она могла бы хорошо играть на семиструнной цитре, но кто стал бы учить ее? Только в самом раннем детстве, лет шести-семи, она училась у своей матери играть на цитре с тринадцатью струнами, и то в совершенстве овладела этим искусством.

Когда ее младшему брату Сабуро, сыну законной жены тюнагона, исполнилось десять лет, он очень полюбил игру на цитре.

– Обучи его, – приказала мачеха, и Отикубо иногда показывала мальчику, как надо играть на цитре.

От скуки в свободные часы она начала заниматься шитьем и скоро научилась отлично владеть иглой.

– Вот это похвально! – обрадовалась мачеха. – Девицы ничем не примечательной наружности должны прилежно учиться какому-нибудь мастерству.

И посадила падчерицу за шитье, не давая бедняжке ни минуты отдыха. Отикубо пришлось одной мастерить все наряды для обоих мужей своих старших сестер. Иногда она ночами глаз не смыкала. Чуть опоздает, мачеха начнет донимать попреками:

– Попросишь эту недотрогу сделать сущий пустяк, и то корчит недовольное лицо. Что же она считает подходящей для себя работой, скажите на милость?

Девушка украдкой лила слезы и вздыхала:

– О, как бы я хотела поскорее умереть!

Тем временем торжественно отпраздновали совершеннолетие третьей дочери, Саннокими, и вскоре же выдали ее замуж за одного молодого человека в чине куродо-но сёсё. А Отикубо стало еще тяжелее: пришлось шить для зятя новые наряды.

В доме не было недостатка в молодых и красивых прислужницах, но кто из них согласился бы взять на себя такой низкий труд, как работа иглой! Служанки часто издевались над Отикубо, и она, проливая слезы над шитьем, сетовала:

Напрасно путь я ищу,
Чтоб навсегда покинуть
Этот жестокий мир.
Несу я трудную ношу:
Грустную жизнь мою.

Усироми могла поспорить с кем угодно красивой наружностью и длинными прекрасными волосами, и потому ее приставили для услуг к новобрачной. Поневоле пришлось подчиниться. Грустно было Усироми, но что могла она поделать?

– Самое мое заветное желание в жизни: никогда не разлучаться с вами. Даже когда моя родная тетушка прислала за мной, я и то отказалась покинуть вас. За что же мне судьба послала такое наказание? Почему должна я служить не вам, моей любимой госпоже, а чужой женщине?

– Полно, что за разница, ведь мы по-прежнему будем жить в одном доме. Я даже рада, ведь ты ходишь в жалких отрепьях, а теперь тебе подарят новые наряды.

Усироми была полна признательности к своей юной госпоже за ее доброту и любовь. Она не в силах была видеть, как Отикубо грустит в одиночестве, и, страдая за нее душой, каждую свободную минуту прибегала к ней. И крепко же доставалось за это Усироми!

– Отикубо по-прежнему то и дело зовет к себе эту служанку! – сердилась госпожа Китаноката. Не часто случалось теперь девушкам поговорить по душам. Даже звать Усироми стали теперь по-новому. Мачеха решила, что раз она служит новой госпоже, то и прежнее имя ей не подходит, и дала ей новое – Акоги.

В свите нового зятя, мужа Саннокими, находился один меченосец, очень смышленый молодой человек по имени Корэнари. Ему приглянулась Акоги. Долгое время они посылали друг другу любовные письма и, наконец, вступили в брачный союз. Супруги откровенно, без утайки, говорили обо всем между собой. Акоги часто рассказывала мужу о своей любимой госпоже, о том, какое доброе сердце у Отикубо, как она хороша собой и сколько ей приходится терпеть незаслуженных притеснений и обид от бессердечной мачехи.

Заливаясь слезами, Акоги просила:

– Ах, помоги мне устроить ее счастье! Вот было бы хорошо, если б мою барышню тайком выкрал из дому какойнибудь достойный человек и женился бы на ней.

Акоги с меченосцем все время говорили между собой о грустной участи Отикубо и от души ее жалели, стараясь придумать способ, как помочь ей.

Мать этого меченосца была кормилицей одного знатного молодого человека по имени Митиёри. Он был сыном главного начальника Левой гвардии и сам имел звание сакон-но сёсё: младшего начальника Левой гвардии. Юноша был еще не женат и потому расспрашивал всех о том, какие дочери имеются на выданье в благородных семьях.

Как-то раз меченосец завел при нем речь о горькой участи Отикубо, и этот рассказ запал юноше в сердце. Митиёри улучил минуту и, оставшись с меченосцем наедине, стал его подробно расспрашивать о ней.

– Ах, несчастная, как, верно, тяжело у нее на душе! – воскликнул он. – Ты говоришь, она происходит из высочайшего рода… Устрой мне с нею тайную встречу!

– Как же так сразу! Ведь она и в уме таких мыслей не держит. Я должен сначала сообщить ей о ваших намерениях и узнать ее ответ.

– Введи меня к ней в покои, введи непременно, ведь она живет отдельно от семьи, у самых ворот…

Меченосец рассказал обо всем Акоги.

– Но у моей госпожи сейчас ничего подобного и в помыслах нет. Я слышала, кроме того, что этот молодой человек – порядочный повеса, – стала возражать Акоги. – Как же я стану уговаривать ее довериться известному ветренику? Но, увидев, что муж раздосадован отказом, она мало-помалу сдалась.

– Хорошо, я поговорю с моей госпожой при удобном случае.

Акоги отвели для жилья тесный закуток рядом с комнатой Отикубо. Но Акоги думала, что ей, как служанке, не подобает стелить свою постель вровень с господским ложем, и уходила спать в клетушку, пол которой был еще ниже, чем в покоях ее молодой госпожи.

Был первый день восьмого месяца года.

Отикубо лежала одна на постели. Не в силах сомкнуть глаз, она послала тихую мольбу к своей покойной матери:

– Матушка, возьми меня к себе, мне так тяжело.

О, если у тебя осталась
Хоть капля жалости ко мне,
Вернись, возьми меня с собой.
Не оставляй меня в добычу
Печалям горестной земли.

Так искала она утешения в напрасных жалобах.

На другое утро Акоги попыталась было завести с ней разговор о любовных исканиях молодого вельможи.

– Муж мой сказал мне то-то и то-то… Что вы об этом думаете? Ведь нельзя же вам до конца ваших дней оставаться одинокой.

Девушка ничего не ответила. Акоги смутилась и не знала, как продолжать, а в это время ее позвали:

– Подай госпоже Саннокими воду для умыванья! Так и пришлось ей уйти ни с чем.

В глубине души Отикубо решила, что в жизни ей все равно нечего ждать хорошего. Несчастная сирота, потерявшая еще в раннем детстве мать, она только и мечтала о смерти.

Даже если б она постриглась в монахини, ей все равно не удалось бы покинуть отцовский дом, где к ней так безжалостны. Нет, уж лучше умереть!

Тем временем меченосец отправился во дворец отца Митиёри.

– Ну, что слышно насчет того дела? – нетерпеливо спросил юноша.

– Я потолковал с моей женой, а она говорит: «Так сразу тут ничего не добьешься!» Обычно если у девушки есть родители, то можно как-нибудь поторопить сватовство, но отец молодой госпожи настолько под пятой своей супруги, что навряд ли с ним столкуешься.

– Я же тебе говорил с самого начала: устрой нам тайную встречу. В такое семейство не очень-то приятно войти на правах законного зятя. Если я ее полюблю, то возьму себе в дом. А если она мне не понравится, то связь можно и прекратить под тем предлогом, что в свете пошли пересуды.

– Я узнаю ее решение и сообщу вам, – сказал меченосец.

– Ты погоди! Надо же мне посмотреть на эту девушку раньше, чем решить окончательно. Как я могу дать свое слово, не повидав ее? Ты скажи, что я, мол, человек верный, не покину ее скоро.

– Не покинете скоро? И это, по-вашему, пылкое признание в любви? – нахмурился меченосец.

– Я хотел сказать «никогда», но оговорился. – И Митиёри со смехом вручил меченосцу любовное послание. – На, возьми, передай.

Тот с неохотой принял письмо и отдал его Акоги.

– Вот послание для твоей госпожи.

– Ах, что за мерзость! Нет, уж избавь меня! Я не хочу подбивать свою барышню на разные глупости.

– А ты все-таки уговори ее написать ответ. Ничего в этом нет дурного.

Акоги отнесла письмо к Отикубо.

– Вот послание от того молодого человека, о котором я вам недавно говорила.

– Что ты делаешь? Если об этом узнает матушка, разве она меня похвалит? – ужаснулась Отикубо.

– А когда ваша мачеха сказала о вас доброе слово? Вот еще была забота с ней считаться!

Отикубо ничего не ответила.

Акоги зажгла свечу и прочла письмо. В нем было только одно это стихотворение:

Едва я узнал, что живешь ты на свете,
Как сердце мое прилепилось к тебе.
О чистый ключ на горе Цукуба,
Незримый для путника, скажи мне,
Где ключ к незримой моей любви?

– Какой изящный почерк! – тихонько ахнула от восторга Акоги, но, увидев, что Отикубо осталась безучастной, сложила письмо, спрятала его в ларец и вышла из комнаты.

– Ну как, прочла твоя госпожа письмо? – полюбопытствовал меченосец.

– Нет, и не взглянула даже. Так непрочитанным я его и спрятала.

– Не понимаю. Уж все бы лучше, чем жить так, как она сейчас живет… И нам обоим, глядишь, этот любовный союз пошел бы на пользу.

Наутро тюнагон заглянул по дороге из дому в комнатку своей дочери и увидел, что на ней самое убогое платье. Только длинные черные волосы, красиво рассыпаясь по плечам, несколько скрадывали безобразие этого наряда. Отцу стало жаль девушку.

– Как ты плохо одета! Жаль мне тебя, ты совсем заброшена, но сначала ведь надо позаботиться о законных дочерях. Если подвернется тебе случай устроить свою жизнь, пожалуйста, без церемоний поступай сама как знаешь. Бедняжка, несладко тебе живется!

Отикубо от смущения не могла выговорить ни слова…

Под впечатлением этой встречи тюнагон сказал своей жене:

– Сейчас я заглянул к Отикубо. На ней только одно убогое тонкое платье из некрашеной ткани. Нет ли у наших дочерей какого-нибудь лишнего старого платья? Нынче ночи такие холодные…

– Ах, я ей все время дарила наряды. И куда только она их подевала? Совсем не умеет беречь!

– Беда с ней! Отикубо рано лишилась материнских забот и к тому же, видно, неряшлива по натуре, – с досадой воскликнул тюнагон.

Госпожа Китаноката велела падчерице сшить парадные хакама для младшего зятя.

– Уж постарайся, сшей как можно лучше. За труды я подарю тебе хорошее платье.

Восторгу девушки не было границ. Она сшила хакама быстро и так красиво, что мачеха осталась довольна и подарила ей со своего плеча старое шелковое платье на вате, украшенное тканными узорами.

Стояла осенняя пора, когда ледяной ветер пронизывает до костей и не знаешь, как укрыться от холода. Отикубо так зябла, что обрадовалась и этому жалкому подарку. Видно, бедственная жизнь уже надломила ее гордый дух.

У младшего зятя, курodo, был горячий нрав. Он громко возмущался всем дурным, но зато и до небес превозносил все хорошее. Вот и теперь тоже он не поскупился на похвалу:

– Превосходная вещь! Отлично сшита! Прислужницы пересказали его слова мачехе.

– Потише, не так громко! – прикрикнула она на них. – Еще, чего доброго, Отикубо вас услышит. Она и без того зазнается. Таких надо держать построже. Счастье для нее, что ей приходится услуживать другим, а то она возомнила бы о себе неизвестно что.

Женщины тихонько шептались между собой:

– Как только госпоже не совестно так безжалостно говорить о такой милой и скромной девушке!

А между тем Митиёри, решившись не отступать от своего, послал Отикубо второе любовное письмо, привязав его к пучку полевого мисканта.

Уже завязали колос
В сердце моем побеги любви.
О прекрасный цветок полевой!
Прошелести чуть слышно,
Голову тихо склони в ответ.

Ответа не было.

В один из дней, когда лил осенний дождь, он снова послал ей письмо:

«Я слышал, что у вас нежная душа, а между тем вы не знаете сострадания.

Просвета нет в облаках.
Сыплется дождь бесконечный…
И, словно осенний день,
Туманится от печали
Сердце, любящее тебя»

И опять никакого ответа.

Но Митиёри, упорствуя, написал снова:

Зыбкий мост облаков
Над стремниной Небесной реки.
Ты на том берегу.
Берегу я надежду в пути,
Что блеснет мне ответный луч.

Так он писал ей почти каждый день, а Отикубо все не отвечала. Наконец Митиёри сказал меченосцу:

– Девушка эта, видно, очень застенчива. Она никогда еще не получала любовных писем и, наверно, даже не знает, как отвечать на них. Но я слышал от тебя, что у нее доброе сердце, открытое для сострадания, так почему же она не пошлет мне хоть самый краткий ответ?

– Вот уж не знаю почему. Может, боится. Мачеха у нее – сущая ведьма. Молодая барышня живет в вечном страхе, только и думает, как бы не прогневить Госпожу из северных покоев каким-нибудь пустяком. Того и гляди, из дому выгонит.

– Я же тебе все время говорю, введи меня без дальних слов в покои к девушке, – настойчиво потребовал Митиёри, и тот не посмел ослушаться. Оставалось только найти удобный случай.

Десять дней не было вестей от влюбленного. Наконец он написал:

«Пора образумиться мне.
К чему писать понапрасну?
Твоя жестокость растет,
Как в озере Масута
Густеет трава водяная.

Я пытался усмирить свою любовь, но напрасно! Не в силах дальше так страдать, я снова пишу вам, хотя и сам понимаю, что нарушаю этим светские приличия…»

Меченосец сказал Акоги:

– На этот раз непременно нужно дать ответ. Уж ты как-нибудь уговори свою барышню, а то молодой господин бранит меня за недостаток усердия…

– Госпожа моя сказала, что не умеет писать любовные письма, – отговаривалась Акоги. – Ты бы видел, как она смутилась.

Она показала письмо Отикубо, но как раз в это время муж второй дочери собирался в отъезд по срочному делу. Отикубо спешно шила для него парадную одежду и опять не ответила на письмо.

Митиёри подумал, что она и в самом деле, как говорит Акоги, не умеет писать любовные письма, но он много слышал о том, какое доброе, отзывчивое сердце у Отикубо, и потому не терял надежды. Скорее ему был по душе такой скромный нрав девушки.

– Что ты тянешь! – торопил он меченосца.

Однако на господском дворе всегда толклось много народу и удобный случай все не представлялся. Митиёри изнывал от любовной тоски. Но тут стало известно, что тюнагон отправляется в храм Исияма исполнить один свой старинный обет. Все домочадцы принялись осаждать тюнагона просьбами, чтобы он взял их с собой. Даже старух и тех постеснялись оставить дома, одну только Отикубо покинули в ее каморке.

Наканокими, вторая дочь, попробовала было вступиться за сестру:

– Возьмем с собою и Отикубо. Жаль оставить ее, бедняжку, дома в одиночестве.

Но Госпожа из северных покоев и слушать не стала.

– Что за новости! Она никогда порога дома не переступала. Да и как она будет шить в дороге? Ни к чему приучать ее к ненужным развлечениям, пусть-ка лучше посидит дома взаперти.

Акоги, как служанку третьей дочери – Саннокими, собрались было красиво нарядить и взять с собой, но она пожалела оставить свою прежнюю госпожу в одиночестве и отговорилась от поездки под предлогом, что у нее внезапно настало месячное очищение и в храме ей появляться нельзя.

– Вот еще выдумки! – рассердилась Китаноката. – Ты это нарочно говоришь, потому что тебе жаль оставить Отикубо.

– Ах, нет, напротив, мне очень досадно, что так случилось. Но ведь срок очищения скоро придет к концу. Если прикажете, я с радостью поеду. Кто же по доброй воле откажется от такого интересного путешествия? Старухи и то просятся… – говорила Акоги так убедительно, что Госпожа из северных покоев наконец поверила и приказала нарядить покрасивее и взять вместо нее в дорогу простую девушку для черной работы, а ей позволила остаться.

В доме начались шумные сборы, поднялась дорожная суматоха, но наконец все уехали, и Акоги в наступившей тишине начала сердечную беседу со своей юной госпожой, чтобы развеять ее грусть. В это время принесли записку от меченосца:

«Я слышал, что ты не поехала в храм вместе с другими.

Если это правда, я сейчас же приду».

Акоги написала ему в ответ:

«Госпоже моей нездоровилось, и она осталась дома. Могла ли я покинуть ее? Нам очень скучно. Приходи навестить нас и принеси с собой те картины, которые ты однажды пообещал нам показать».

А надо сказать, что у младшей сестры Митиёри, носившей высокое звание младшей императрицы, было много свитков с красивыми картинами. Меченосец как-то говорил Акоги, что если молодой господин начнет посещать Отикубо, то он непременно покажет им эти свитки.

Меченосец показал Митиёри записку, полученную им от Акоги.

– Так это рука твоей жены, Корэнари? Очень красиво пишет. Вот случай, которого мы ждали. Ступай туда, все устрой.

– Дайте мне на время один свиток с картинами.

– Нет, я сам покажу ей, как ты мне раньше советовал.

Когда буду у нее…

– Кажется, сейчас и в самом деле подвернулся удобный случай, – согласился меченосец.

Митиёри, смеясь, прошел в свои покои и нарисовал на белой бумаге недовольную физиономию мужчины: палец во рту, губы наморщены. Внизу он написал:

«Вы хотели полюбоваться на картины, извольте, посылаю вам одну.

Сжаты печально уста.
Устало глаза глядят.
Может ли быть иначе?
Мало в жизни утех
У тех, к кому так жестоки.

Впрочем, это письмо – ребячество с моей стороны». Собираясь отнести послание господина, меченосец сказал своей матери, которая некогда была кормилицей Митиёри:

– Приготовь каких-нибудь вкусных лакомств и уложи их в корзинку. Я скоро за ними пришлю.

Он отправился к дому тюнагона и вызвал Акоги.

– А где же картины? – полюбопытствовала она.

– Вот здесь. Отдай-ка это письмо барышне, тогда все узнаете.

– Опять какой-нибудь обман, – нахмурилась Акоги, но все же отнесла письмо своей юной госпоже.

Отикубо томилась от скуки и потому пробежала его взглядом.

– Что такое? Ты просила свитки с картинами? – воскликнула она.

– Да, я писала о них меченосцу, а господин сакон-но сёсё, верно, видел мое письмо.

– О, как это неприятно! У меня такое чувство, будто заглянули в самую глубь моего сердца. Для такой затворницы, как я, лучше оставаться безучастной ко всему на свете, – сказала Отикубо с недовольным видом.

Меченосец позвал Акоги, и она вышла к нему.

– А кто остался сторожить дом? – спросил он будто невзначай. – Как у вас стало пусто и уныло! Я сейчас пошлю к своей старушке за лакомством. – И он отправил нарочного к своей матери с наказом прислать все вкусное, что только найдется в доме.

Та уложила разные лакомства как можно красивее в две корзинки. Бóльшую из них она наполнила до краев всевозможным рисовым печеньем, белым и красным вперемежку, не забыла даже положить сверток с поджаренными зернами риса. И послала сопроводительное письмо:

«Такие кушанья едят неохотно даже в бедных домах. Боюсь, что особам, живущим во дворце, они придутся не по вкусу. Этот жареный рис прошу передать девочке для услуг, как бишь ее по имени, кажется, Цую».

Зная, как грустно живется покинутой всеми Отикубо, старуха всячески старалась показать, что рада услужить ей хоть малостью.

Увидев корзинки с лакомствами, Акоги воскликнула:

– Это странно. По какому случаю и жареный рис, и сладости? Что ты затеял?

Меченосец засмеялся:

– Знать ничего не знаю. Зачем бы я стал дарить такие пустяки? Это моя старуха додумалась своим разумом. Эй, Цую! Возьми убери это куда-нибудь.

И Акоги с меченосцем стали, как всегда, толковать о своих господах. Решили, что молодой господин вряд ли пожалует в такую дождливую ночь, и спокойно легли спать.

Отикубо тоже прилегла и одна в ночной тишине стала перебирать струны своей цитры. Полилась прекрасная, полная задушевной грусти мелодия.

Меченосец заслушался.

– Как чудесно она играет!

– Правда, хорошо? А ведь покойная госпожа учила ее музыке очень недолго, когда девочке было всего лет шесть… Пока они так мирно беседовали между собой, Митиёри украдкой приблизился к дому. Он послал одного из слуг сказать меченосцу:

– Выйди ко мне немедленно для важного разговора. Тот сразу все понял и в замешательстве отозвался:

– Слушаюсь, сейчас иду! – и торопливо вышел. Акоги тем временем пошла к своей госпоже.

– Ну, что же? – спросил Митиёри. – Я приехал в такой проливной дождь, неужели мне возвращаться ни с чем?

– Вы так внезапно пожаловали, даже не предупредили меня заранее. Как же так вдруг! – упрекнул его меченосец. – А ведь еще неизвестно, что скажет молодая госпожа. Вряд ли что-нибудь выйдет сегодня.

– Не строй такой постной рожи! – И Митиёри наотмашь ударил меченосца.

Тот кисло улыбнулся.

– Что с вами поделаешь! Извольте выйти из экипажа. И он показал Митиёри дорогу в дом.

Слугам было приказано прислать экипаж утром пораньше, пока еще будет темно.

Меченосец остановился возле двери в свою комнату и стал тихим голосом давать юноше советы, что дальше делать. В такую позднюю пору можно было не опасаться внезапных гостей.

– Я сначала погляжу на нее хоть в щелку, – сказал Митиёри.

Меченосец схватил его за рукав.

– Постойте! Вдруг она покажется вам не такой красивой, как вы ожидали? Что тогда? Как в романах пишут, любезник взглянул на нее, а она – безобразная уродина…

– Ну, тогда я вместо шляпы прикрою голову рукавом и убегу, – засмеялся Митиёри.

Меченосец спрятал его возле решетчатого окна, а сам решил караулить снаружи, опасаясь, как бы слуги, оставленные сторожить дом, не приметили незваного гостя.

Митиёри заглянул внутрь. Тесная каморка была еле освещена тусклым огоньком светильника, зато ни церемониальный занавес, ни ширмы не мешали взору, все было хорошо видно.

Лицом к нему сидела какая-то миловидная женщина с длинными прекрасными волосами, должно быть, Акоги. Поверх тонкого белого платья на ней было надето второе – из блестящего алого шелка.

Перед ней, опираясь на локоть, полулежала на постели совсем юная девушка. Наверно, она! Белое платье облегало ее тонкий стан свободными легкими складками, ноги были прикрыты теплой одеждой из красного шелка на вате… Она глядела в другую сторону, лица почти не было видно. Головка у нее была прелестной формы, волосы удивительно красиво падали на плечи, но не успел он налюбоваться, как огонь вдруг погас.

«Какая досада!» – подумал Митиёри, и в душе его вспыхнула решимость добиться победы во что бы то ни стало.

– Ах, какая темнота! Ты говорила, что к тебе пришел твой муж. Иди к нему скорей!

Голос девушки, такой нежный, красивый, пленял слух…

– К мужу пришел гость, а я пока побуду с вами. Дома почти никого не осталось, должно быть, вам страшно одной, – ответила прислужница.

– Мне часто бывает страшно. Я уж привыкла.

Когда Митиёри вышел из своего тайника, меченосец начал его поддразнивать:

– Ну, что скажете? Проводить вас домой? А где же ваша шляпа? Изволили забыть ее с перепугу?

– О! Ты человек пристрастный, ведь ты без памяти влюблен в свою жену, – усмехнулся в ответ Митиёри. А сам в это время думал: «Какое старое, изношенное платье у бедняжки! Ей будет совестно передо мной…» – Позови свою жену поскорей и ложись-ка спать, – нетерпеливо приказал он.

Меченосец пошел к себе в спаленку и позвал Акоги.

– О нет, эту ночь я проведу возле госпожи. А ты ложись поскорее спать или в нашем закутке, или где сам знаешь, – начала было отнекиваться Акоги.

– Я только хочу передать тебе то, о чем рассказал мне мой гость. Это очень важное дело. Выйди ко мне хоть на минутку, – попросил он снова через служанку Цую.

Наконец Акоги отодвинула в сторону дверь и крикнула в сердцах:

– Ну, в чем дело? Что ты здесь буянишь? Меченосец обнял ее:

– Гость сказал мне: «Не спи один в такую дождливую ночь». Идем со мной!

Акоги засмеялась.

– Послушайте его! Вот нашел важное дело!

Но меченосец насильно заставил ее лечь с ним рядом и, не говоря ни слова, прикинулся спящим.

Сон не шел к Отикубо. Полулежа на своей постели, она стала перебирать струны цитры и тихо запела:

Когда весь мир земной
Мне кажется печальным,
Хочу средь горных скал
Убежище найти,
Навеки от людей укрыться.

Митиёри устал ждать и, подумав, что сейчас настала удобная минута – поблизости никого нет, – ловко при помощи кусочка дерева приподнял верхнюю створку решетчатого окна и пробрался в комнату.

Отикубо в испуге хотела было бежать, но он крепко сжал ее в объятиях.

Акоги, спавшая вместе с меченосцем в соседней комнате, услышала, как стукнуло окно. «Что там такое!» – в испуге подумала она и попыталась было вскочить с постели, но меченосец силой удержал ее.

– Пусти меня! Там створка окна стукнула. Пойду посмотреть, что случилось.

– А, пустое! Это собака. Или крыса. Нечего бояться. С чего ты так всполошилась? – уговаривал он жену.

– Нет, что-то неладно. Уж, наверно, ты подстроил что-нибудь. Оттого меня и не пускаешь.

– С чего бы это я стал строить козни! Успокойся, ляг! – Крепко обняв жену, он заставил ее лечь снова.

В страхе за свою госпожу Акоги горько плакала и сердилась, но вырваться так и не смогла.

– Ах, несчастье! Ах ты, бессердечный!

Между тем Митиёри, держа девушку в объятиях, распустил на ней пояс и лег рядом с ней на ложе. Вне себя от ужаса и отчаяния Отикубо заливалась слезами, дрожа всем телом.

– Вы так грустны! Мир кажется вам обителью печали. Вы хотите скрыться в глубине гор, где вас не настигнут вести о земных горестях, – попытался заговорить с ней Митиёри.

«Кто это так говорит со мной? – подумала Отикубо. – Ах, наверно, тот знатный юноша!»

И вдруг она вспомнила, что на ней старое платье и заношенные хакама! Девушке захотелось тут же умереть на месте со стыда, и она зарыдала. Вид ее печали невыразимо трогал сердце. Митиёри в душевном смятении не находил слов утешить ее.

Акоги была рядом, за стеною, и до нее донесся звук приглушенных рыданий госпожи. «Так и есть!» – подумала она и в тревоге хотела было бежать на помощь, но меченосец снова не пустил ее.

– Что же это! Погубил мою госпожу, а меня держишь силой! О, недаром мне почудилось что-то неладное, жестокий ты, низкий человек! – Акоги, не помня себя от гнева, вырывалась из рук меченосца.

А тот лишь посмеивался:

– Знать ничего не знаю, зачем зря меня винить! Вор не мог сейчас забраться в опочивальню твоей госпожи. Значит, там любовник. Какой толк бежать туда сейчас, подумай сама.

– Нечего прикидываться, будто ты здесь ни при чем, – рыдала Акоги. – Говори сейчас, кто этот мужчина? Ах, ужасное дело! Бедная моя барышня!

– Что за ребячество! – потешался меченосец. Акоги еще сильнее рассердилась на него.

– И я доверилась такому бессердечному человеку! – воскликнула она с горечью.

Меченосцу стало жаль ее.

– По правде говоря, молодой господин пожаловал сюда, чтобы побеседовать с твоей госпожой. Что здесь дурного? Зачем так шуметь? Видно, их союз был заключен еще в прежней жизни. Против судьбы не поспоришь.

– Ты мне и словом не обмолвился, а госпожа моя подумает, что я с тобой в сговоре, вот что мне горько! Ах, зачем только я покинула ее нынче ночью! – сетовала Акоги, негодуя на мужа.

– Не тревожься, она поймет, что ты ни о чем не знала. За что ты так сердишься на меня? – И не давая ей времени опять разразиться упреками, меченосец снова заключил жену в объятья.

Митиёри тихо говорил девушке:

– Отчего вы так бесчувственны к моей любви? Пусть я человек ничтожный, но все же, мне кажется, вам незачем приходить в такое отчаяние. Сколько раз посылал я вам письма, а вы ни разу не удостоили меня ответом! Я решил было не утруждать вас больше, раз я так вам противен. Но не знаю сам почему, с тех пор как я начал писать вам, вы мне сделались очень дороги. Ах, должно быть, ваша ненависть ко мне предопределена еще в прошлой жизни, и потому я не питаю чувства горечи за то, что вы ко мне так жестоки.

Отикубо казалось, что она умрет со стыда. На ней было только одно тонкое платье и хакама, изношенные до того, что местами сквозило нагое тело. Не описать словами, как ей было тяжело. По ее лицу струился холодный пот, еще более обильный, чем слезы. Заметив, в каком она состоянии, Митиёри проникся к ней жалостью и нежностью. Он начал всячески успокаивать ее и утешать, но Отикубо не в силах была вымолвить ни слова.

Сгорая от стыда, девушка в душе винила во всем Акоги.

Наконец кончилась эта грустная ночь. Раздался крик петуха.

Митиёри воскликнул в тоске расставанья:

Всю ночь до рассвета
Ты только слезы лила…
Я полон печали,
И все ж ненавистен мне
Крик петуха поутру.

Молю, отвечайте мне хоть иногда, а то я подумаю, что вы совсем дикарка, не знающая света.

И вдруг Отикубо невольно, словно в полузабытьи, прошептала:

Ты полон печали…
В устах моих замер ответ.
И вторит рыданью
Крик петуха поутру.
Утру я не скоро слезы.

Голос ее ласкал слух. До тех пор Митиёри был влюблен не слишком глубоко, но с этого мгновения полюбил по-настоящему.

– Экипаж прибыл! – донеслось с улицы.

– Пойди доложи! – велел меченосец жене.

– Нынче ночью я прикинулась, будто ничего не слышу, значит, если я прибегу к ней так рано, она поймет, что я все знала. Подлый ты человек! Из-за тебя моя дорогая госпожа меня возненавидит.

В своей ребяческой досаде Акоги казалась ему еще милее прежнего.

– Ну что ж! Если госпожа твоя тебя возненавидит, то я еще крепче буду любить, – пошутил меченосец и, подойдя к окну комнаты Отикубо, подал условный знак, кашлянув два-три раза.

Митиёри быстро вскочил с постели и стал помогать Отикубо переодеться в дневную одежду. Увидев, что девушка стынет от холода, потому что у нее нет даже тонкого платья хитоэ, он снял с себя свое и накинул ей на плечи. Отикубо до крайности смутилась.

Акоги между тем была в большом затруднении. Она не посмела дольше без всякого явного повода оставаться у себя в комнате и явилась к своей госпоже. Отикубо лежала на постели. Пока Акоги раздумывала, с чего бы начать разговор, прибыли два письма – и от ее мужа, и от Митиёри.

В письме меченосца говорилось:

«Несправедливо нападать на меня с такими жестокими упреками за то, что совершилось прошлой ночью без моего ведома. Вперед я не буду сопровождать молодого господина, если твоей госпоже будет грозить малейшее неуважение. Испуганная тем, что произошло вчера, ты боишься, как бы не случилось в будущем чего-нибудь еще худшего, и, верно, клянешь меня, думая: “Какой негодяй! Он мог обидеть даже мою кроткую госпожу!” Из-за этого мне стала несносной самая мысль о любовном союзе между нашими господами. Но как быть? Молодой господин шлет письмо. Надо дать на него ответ. Так уж в свете водится. А ты со своей стороны напиши мне обо всем, что тебя тревожит».

Акоги подала Отикубо любовное послание от Митиёри.

– Вот письмо к вашей милости. Странное дело, вчера я вдруг уснула крепким сном и не заметила, как наступило утро… Впрочем, вы, верно, думаете, что я ищу оправданий.

Акоги пыталась угадать, что на сердце у ее юной госпожи.

– Если б только я знала, разве я стала бы молчать! – всячески клялась она в своей невиновности, но ответа не было. Отикубо продолжала лежать неподвижно.

– Так вы все-таки думаете, что я знала! Какая жестокость! Я много лет служила вам верой и правдой. Неужели я решилась бы на такое бесчестное дело! Вас покинули одну дома, я пожалела вас, отказавшись от чудесной поездки, и вот награда! Вы даже не хотите слушать никаких оправданий. Если ваше сердце ничем нельзя тронуть, то как могу я служить вам? Уйду куда глаза глядят! – плакала Акоги.

Отикубо стало жаль ее.

О нет, я не думаю, что ты об этом знала заранее. Все случилось так неожиданно, так внезапно! Но как ни велико мое отчаяние, к нему еще примешивается стыд, ведь он видел меня в таком жалком тряпье. Если б жива была моя матушка, разве могло бы со мной случиться такое несчастье? – говорила Отикубо, роняя слезы.

– Это сущая правда. У вас презлая мачеха. Наверно, господин сакон-но сёсё услышал о том, как она бессердечна, и проникся сожалением к вашей участи. Понимаю, каково у вас сейчас на душе. Но все же если только чувство молодого господина к вам останется неизменным, то радоваться надо тому, что случилось, а не плакать.

– Ах, на что я могу надеяться! Он видел меня в лохмотьях… Кто может полюбить такое пугало! А что скажет моя строгая мачеха, когда слухи дойдут до ее ушей? «Если она взяла себе мужа и собирается без моего ведома шить на чужую семью, – скажет мачеха, – то нечего ей оставаться в моем доме».

Увидев, в каком страхе находится Отикубо, Акоги стала ее успокаивать:

– Ну и пусть, вот еще беда! Что же вам весь свой век, что ли, здесь мучиться! Да это счастье, если она вас выгонит! До каких пор можно терпеть! Разве не пугает вас мысль о том, что вам придется все время шить на ее зятьев?

Между тем посланец попросил дать ответ на письмо.

– Скорее прочтем это послание. Ведь слезами теперь горю не поможешь.

Акоги раскрыла письмо и показала его своей госпоже.

Она пробежала его глазами, не подымая головы.

Кто скажет, отчего
Люблю тебя сегодня по-иному?
Влюбленность прежних дней

Теперь ничто, поверь,
Пред этой новою любовью.

В письме было лишь это стихотворение, и больше ничего. Отикубо не стала отвечать, сославшись на нездоровье.

Акоги написала меченосцу:

«Не по сердцу мне твои поступки. Что все это означает? Вчерашнее твое поведение отвратительно, подло, чудовищно! Ты обнаружил такую бездну душевной низости, что я не смогу доверять тебе в будущем. Госпожа моя так жестоко страдает, что до сих пор не может подняться с постели. Письмо молодого господина осталось непрочитанным. Мне так жаль мою госпожу! Душа надрывается глядеть на нее!»

Меченосец поспешил рассказать обо всем Митиёри. Тот не поверил, что он настолько противен девушке, а подумал, что она стыдится своего нищенского наряда, пожалел ее и еще больше затосковал по ней.

В тот же день он написал ей другое письмо:

«Отчего бы это? Вы по-прежнему суровы ко мне, а между тем моя нежность к вам все растет.

Все пламенней люблю,
А ты сказала ль «да»?
Льда сердца твоего
Не в силах растопить
Любовный пламень мой».

В письме меченосца говорилось:

«Будет очень плохо, если барышня твоя и на этот раз не даст ответа. Надо постараться, чтоб они полюбили друг друга всей душой. Чувство молодого господина, как я вижу, долговечное. Он и сам так говорит».

Акоги стала упрашивать свою госпожу на этот раз непременно ответить на письмо. Но при мысли о том, какое впечатление должен был произвести ее жалкий вид на Митиёри, Отикубо не помнила себя от стыда и отчаяния и никак не могла собраться с духом написать ответ. Она лежала на постели, накрывшись с головой одеялом.

Устав уговаривать ее, Акоги написала мужу:

«Госпожа моя прочла письмо, но так страдает, что не в силах отвечать. Ты пишешь, что любовь молодого господина прочна и долговечна. Как можно об этом судить? Ведь не прошло и дня со времени их первой встречи… Если господин сакон-но сёсё рассердится на то, что ответа опять не было, постарайся как-нибудь смягчить его досаду».

Меченосец показал Митиёри письмо своей жены.

– О, жена у тебя умница, умеет кстати сказать слово, – улыбнулся Митиёри. – А химэгими, должно быть, почувствовала легкую дурноту от избытка застенчивости и смущения…

Между тем Акоги была одна, посоветоваться ей было не с кем. Сердце у нее разрывалось на тысячу частей от тревоги. Ей не сиделось на месте. Она принялась смахивать пыль, но прибрать покрасивее комнатку Отикубо никак не удавалось: не было ни ширм, ни занавеса. Отикубо все лежала неподвижно. Акоги хотела было поднять ее, чтобы привести в порядок постель. Лицо девушки опухло от слез, глаза покраснели до того, что она стала сама на себя не похожа. Акоги, пожалев ее, заботливо сказала ей тоном старшей:

– Причешите волосы.

Но Отикубо только проронила в ответ:

– Мне совсем худо, – и даже не подняла головы.

У Отикубо было несколько цепных вещей, доставшихся ей по наследству от покойной матери, и среди них очень красивое зеркало.

«Хорошо, что хоть зеркало есть! – подумала Акоги и, обтерев его, положила у изголовья Отикубо. Акоги хлопотала, выполняя одна за двоих работу и камеристки и простой служанки. – Сегодня он придет непременно», – думала она с тревогой.

– Простите за смелость, но эти хакама еще совсем новые… Как досадно! Первая встреча, и вдруг он увидел вас в таком жалком уборе…

На Акоги были нарядные хакама, которые она надела всего раз-другой во время ночного дежурства в господских покоях. Она решила тайком от всех подарить их Отикубо.

– С моей стороны это, конечно, большая дерзость… Но ведь никто не узнает. Пожалуйста, не отказывайтесь.

Отикубо стыдилась принять подарок, но в то же время ей слишком горько было думать, что и нынешней ночью она предстанет перед своим возлюбленным в таком жалком виде, и она, поблагодарив, нехотя надела их.

– На празднике по случаю совершеннолетия вашей сестры Саннокими мне подарили две-три палочки для возжигания ароматов. Сейчас они нам пригодятся.

Акоги зажгла палочки и окурила ароматом платье Отикубо.

«Необходим широкий занавес, чтобы загородить постель, – думала она. – Как быть, ума не приложу. Может, взять в долг на время у кого-нибудь? Ночная одежда у нее совсем плохая, тонкая… У кого бы попросить красивую одежду?..»

У Акоги голова пошла кругом от забот. Она решила срочно послать письмо своей тетке, муж которой раньше служил в императорском дворце, а теперь был назначен правителем провинции Идзуми.

«Прошу вас не отказать мне в неотложной просьбе. Одна важная особа должна провести ночь в нашем доме, потому что дорога грозит ей бедой. Нужен занавес. А ночная одежда моей госпожи мне кажется совсем не подходящей для такой важной гостьи. Нет ли у вас хорошей? Пожалуйста, одолжите на время. Я бы не стала тревожить вас по пустякам…» – торопливо писала Акоги.

Тетка ответила ей:

«Я так была огорчена твоим долгим молчанием, что очень рада этому случаю. Напишу тебе обо всем после, а теперь о деле. Ночная одежда у меня самая грубая, но ведь я сшила ее для себя самой. У вас в доме, наверное, много таких. Посылаю и занавес».

Теплая одежда на вате была двухцветной: верх светлопурпурный, а подкладка синяя. Радости Акоги не было конца. Она с торжеством показала новый наряд своей госпоже. Но как раз когда Акоги поспешно развязывала шнуры занавеса, появился Митиёри, и она провела его к своей госпоже. Отикубо все еще лежала на постели. При виде гостя она из вежливости хотела было встать.

– Зачем вы встаете, вам ведь нездоровится! – ласково сказал ей Митиёри.

Одежды девушки благоухали. На ней были и красивое хитоэ и нарядные хакама. Чувствуя, что сейчас она одета не хуже других, Отикубо не испытывала прежнего жгучего стыда и Митиёри тоже почувствовал себя спокойнее. В эту ночь Отикубо иногда решалась проронить несколько слов в ответ своему возлюбленному. Наступил рассвет, прервав любовные речи юноши.

Доложили, что прибыл экипаж.

– Что это, как будто дождь! Подождите немного, – отозвался он, не поднимаясь с ложа.

Надо было молодым господам подать воды для умывания и завтрак. Акоги отправилась на кухню. Вообще в отсутствие господ в доме ничего не готовили, но она попробовала выпросить что-нибудь у стряпухи.

– Прошлым вечером к моему мужу зашел один приятель, чтобы потолковать о делах, но из-за проливного дождя ему пришлось заночевать. Хотелось бы угостить его завтраком, да, на беду, у меня ничего нет. Извини, пожалуйста, за просьбу, но не дашь ли ты мне немного вина? И не осталось ли у тебя немного сушеных водорослей на закуску? Дай хоть чуточку.

– Ах, от души жалею тебя. Досадно, конечно, если нечем угостить знакомого человека. У меня, пожалуй, найдутся кой-какие лакомства. Я берегла их к приезду хозяев.

– О, когда господа пожалуют, то, верно, сразу же будет устроено славное угощение в честь их приезда. На это ты первая мастерица!

Акоги заметила, что стряпуха пришла в хорошее расположение духа, и без дальних церемоний наполнила вином стоявший поблизости кувшинчик.

– Оставь, пожалуйста, хоть немного на донышке.

– Хорошо, хорошо! – отозвалась Акоги и, завернув в бумагу немного сушеных водорослей и рисовых зерен, положила сверток в корзинку для угля и понесла в свою комнату. Позвав служаночку Цую, она приказала ей: – Приготовь-ка завтрак, да смотри, повкуснее, – а сама отправилась искать красивый поднос.

Но первым делом она стала думать, где можно найти тазик для умывания. «У моей госпожи, конечно, такого не найдется. Возьму-ка я на время тазик Саннокими и подам в нем воду», – сказала она самой себе и распустила по плечам свои скрученные в узел волосы, чтобы предстать перед господами в подобающем виде.

Отикубо лежала на постели, истомленная душевной мукой. Появилась Акоги в красивой одежде, наряженная самым парадным образом, поясок повязан с изящной непринужденностью… Сзади со спины было видно, что ее длинные черные волосы стелются за ней по полу. Меченосец проводил свою жену влюбленным взглядом.

По дороге в покои Отикубо Акоги сказала как бы про себя:

– Оставить, что ли, оконные решетки закрытыми?

Митиёри услышал, и ему захотелось посмотреть на свою возлюбленную при ярком свете.

– Госпожа приказала открыть окно. Здесь очень темно, – сказал он.

Акоги подставила себе под ноги какой-то случайно стоявший на веранде ящик и подняла решетчатую раму.

Митиёри встал с ложа, оделся и спросил:

– Что, экипаж мой прибыл?

– Стоит перед воротами.

Он уже собрался уходить, как вдруг Акоги подала на подносе изысканный завтрак. Не был забыт и тазик с водой для умывания.

«Что за чудо!» – удивился Митиёри, так много слышавший о том, в какой нищете живет девушка. Он никак не мог взять в толк, откуда что взялось.

По счастью, начал накрапывать небольшой дождь. Кругом было безлюдно и тихо. Собираясь уходить, Митиёри бросил быстрый взгляд на свою возлюбленную. В ярком утреннем свете она показалась ему невыразимо прекрасной и еще желанней прежнего. Когда Митиёри ушел, Отикубо немного отведала от поданных на завтрак лакомств и потом снова легла.

* * *

Близилась третья свадебная ночь, когда полагается угостить молодых особыми лакомствами. Что было делать?

«Он непременно пожалует», – думала в тревоге Акоги, но посоветоваться ей было не с кем, и она снова написала своей тетке в Идзуми:

«Я от всей души благодарю вас за то, что вы прислали мне все, о чем я просила. Боюсь надоесть вам своими просьбами, но случилось так, что нынешним вечером мне непременно

надо подать гостям рисовое печенье – мотии. Пожалуйста, пришлите вместе с ним еще немного каких-нибудь сладостей. Я думала, что гостья пробудет у нас всего деньдругой, но ей придется сорок пять дней ожидать, чтобы можно было продолжать дорогу со счастливым предзнаменованием. Позвольте мне оставить у себя ненадолго присланные вами вещи. Кстати, не найдется ли у вас красивого тазика для умывания? Простите, что я докучаю вам множеством просьб, но вы, тетушка, всегда были для меня главной опорой в жизни…»

От Митиёри прибыло любовное послание:

Вдали от тебя, в одиночестве,
Хочу быть с тобой неразлучно,
Как телу всегда сопутствует
Его отраженный образ —
В глубинах ясного зеркала.

Отикубо впервые послала своему возлюбленному ответную песню:

Пусть верным спутником кажется
Послушное отраженье,
Но слишком оно изменчиво.
Любой появляется образ
В глубинах ясного зеркала.

Почерк у нее был удивительно изящный. Восхищенный взгляд, которым смотрел на ее письмо Митиёри, без слов говорил о том, что любовь в его сердце обрела новые силы.

Акоги получила от своей тетушки такой ответ:

«Я всегда мечтала заменить тебе твою покойную мать, ведь у меня нет собственных дочерей. Заботиться о тебе, как о родном детище, окружить тебя самым нежным попечением, чтобы жизнь твоя текла легко и радостно, – вот что было всегда моим самым заветным желанием. Но, сколько раз я ни присылала за тобой, ты неизменно отвечала мне отказом. Как же было мне не обижаться на тебя! Распоряжайся как хочешь всем, что я тебе прислала. Посылаю тебе и тазик для умывания. Но я удивлена! Ведь во дворце, где ты служишь, такие вещи должны быть в изобилии…

Что ж ты раньше не попросила меня прислать их? Неприятно и унизительно нуждаться в самом необходимом. Как это могло случиться? Мотии – дело нехитрое, я сейчас же их приготовлю. Но твои просьбы наводят меня на мысль, что в доме у вас появился молодой зять. Верно, готовится угощение в честь третьей ночи. Что б там ни было, хочу тебя повидать, я стосковалась по тебе.

Проси у меня все, что только тебе понадобится. Муж мой управляет владениями, приносящим очень хороший доход, и я могу прислать любую вещь, в которой у тебя встретится нужда».

Акоги была вне себя от радости, получив это письмо, такое нежное и ласковое. Она показала его своей госпоже.

– К чему это угощение? – недоуменно спросила Отикубо.

– Так. Есть один маленький повод, – лукаво усмехнулась Акоги.

Скоро из дома ее тетки доставили великолепный одзэн. Тазик для умывания тоже радовал глаза. В большой корзине был ослепительно белый рис и бережно завернутые в бумагу лакомства и закуски.

«Нынче как раз третья ночь после их первой встречи, – думала Акоги, вынимая из корзины и раскладывая на подносе разные кушанья: сухую рыбу, фрукты, каштаны. – Я смогу подать отличное угощение, как следует по обычаю».

Но когда день стал склоняться к вечеру, дождь, притихший было, полил снова, грозя сделать дороги непроезжими. У Акоги душа была не на месте от страха, что обещанное теткой «печенье третьей ночи» не успеет прибыть вовремя. Но вдруг слуга под большим зонтом принес ларец из дерева магнолии. Словами не выразить, как обрадовалась Акоги.

Открыла крышку, взглянула… И когда только тетушка успела? Было там и печенье двух сортов с душистыми травами, и обычное печенье тоже двух сортов, все самого миниатюрного размера, и притом искусно окрашенное в разные цвета… А в сопроводительной записке говорилось:

«Я изготовила это печенье второпях. Вряд ли я сумею угодить своей стряпней изысканному вкусу твоих гостей. Очень жалею, что у меня не было возможности проявить в полной мере мое усердие».

Посланец спешил вернуться, пока дождь не сделает дорогу совсем непроходимой, он даже отказался от угощения и только выпил немного вина.

Акоги, полная радости, поспешно набросала короткое письмецо:

«Благодарность мою не выразить словами!»

Наконец все приготовления были успешно закончены.

О, счастье!

Она положила немного печенья в чашечку с крышкой и отнесла своей госпоже.

С наступлением темноты дождь полил такими яростными потоками, что страшно было даже голову высунуть из дома.

Митиёри сказал меченосцу:

– Жаль, но, кажется, нельзя будет мне туда поехать.

Взгляни, что делается на дворе.

– Вы только начали посещать этот дом, – ответил меченосец с озабоченным видом, – были там всего раз-другой. Очень досадно, если сегодня вы не сможете поехать. Но, на беду, зарядил такой дождь… Что ж делать, это не ваша вина. Извольте только написать госпоже, почему вы сегодня не можете быть у нее.

– Это верно.

Митиёри поспешно взялся за кисть:

«Я думал посетить вас нынче ночью, но проливной дождь помешал мне. Не подумайте обо мне дурного. Сердце мое по-прежнему вам предано».

Меченосец отправил Акоги записку:

«Я скоро буду. Молодой господин тоже собирался к вам и очень огорчен тем, что дороги стали непроезжими».

Все хлопоты Акоги кончились ничем. В жестокой досаде она ответила меченосцу:

«Ах, вот оно что! Дождь, видите ли, помешал! А разве не говорит старая песня:

Пусть льется дождь еще сильней.
Я встречусь все равно
С моей любимой.

Но у господина сакон-но сёсё нет сердца! Ты пишешь самым беззаботным образом, что явишься к нам один. Навлек на мою госпожу такое несчастье, а самому и горя мало! О, недаром поется в песне:

Но если этой ночью

Ты не придешь ко мне,
Что ждать тебя напрасно?

Так он не изволит прийти даже на третью ночь! Ну и пусть!»

Отикубо написала только:

Ах, часто и в былые дни
Роняла я росинки слез
И смерть звала к себе напрасно,
Но дождь печальной этой ночи
Сильней намочит рукава.

Письма эти были доставлены поздно вечером. Уже минул час Пса.

Когда Митиёри при свете огня увидел стихотворение Отикубо, его сердце переполнилось жалостью к ней.

Прочтя письмо жены меченосца, он заметил:

– Здесь много несправедливых упреков, но ведь нынче и в самом деле третья ночь! Пропустить ее не предвещает ничего хорошего.

Дождь полил еще сильнее. В печальной задумчивости юноша полулежал, опершись щекой на руку.

Меченосец, тяжело вздохнув, собрался было отправиться в дорогу один, но Митиёри окликнул его:

– Подожди немного! Ты что хочешь делать? Идти туда?

– Да, я хочу сказать им несколько слов в утешение.

– Ну, в таком случае и я с тобой.

– Вот это отлично!

– Достань мне большой зонт. Я сейчас переоденусь. – И с этими словами Митиёри прошел в глубь дома, а меченосец отправился искать зонт.

Между тем Акоги, не зная, что Митиёри решился прийти пешком, несмотря ни на что, громко жаловалась:

– Ах, проклятый дождь!

Отикубо увидела, что Акоги выходит из себя от досады, и, стараясь скрыть огорчение, спросила:

– Отчего ты так бранишь его?

– Да, если б он еще моросил понемногу! Так вот нет же, как назло, хлынул потоком, противный!

Отикубо еле слышно прошептала слова из одной песни о любви:

Узнав о печали моей,
Дождь пролил потоки слез…

«Что у нее на сердце?» – смутилась Акоги и молча прилегла, подперев голову рукой.

Между тем Митиёри скинул с себя верхнюю одежду, надел взамен простое некрашеное платье и пустился в дорогу в сопровождении одного только меченосца. Спрятавшись от дождя вдвоем под одним огромным зонтом, они потихоньку открыли ворота и крадучись вышли на дорогу.

Стояла непроглядная тьма. Спотыкаясь, путники еле брели по скверной, усеянной выбоинами дороге, как вдруг на перекрестке им попалась навстречу ватага каких-то челядинцев с факелами в руках.

Крича во все горло, они сгоняли прохожих с дороги; видно, должна была проехать важная персона.

Улица была такая тесная, что укрыться от них было негде. Митиёри и меченосец попробовали было пройти незамеченными вдоль стены, прикрываясь зонтом, чтобы их не узнали в лицо, но стражники загалдели:

– Эй вы там, прохожие люди! Куда это вас несет ночью в темноте под проливным дождем? И почему вы только вдвоем? Хватай их!

Что было делать! Пришлось остановиться, как было приказано, на самом краю дороги. Стражники, размахивая факелами перед самым их носом, орали:

– Гляньте-ка, да у них ноги совсем белые! Выходит, это не грабители с большой дороги.

Но один возразил:

– Так что же! У домушников ноги всегда белые.

Митиёри с меченосцем попробовали было пройти дальше, но стражники крикнули:

– Наглецы! Как вы смеете стоять во весь рост! А ну, кланяйтесь в землю, живо! – и давай молотить кулаками по зонту.

Хочешь не хочешь, пришлось бить челом на грязной, покрытой навозом дороге.

Но грубияны не унимались:

– А-а, вы еще нарочно зонтом загораживаетесь! – и потянули зонт в сторону, так что оба молодых человека свалились прямо на груду навоза.

А стражники, освещая их огнем факелов, издевались над ними:

– Вон на том, глядите, шелковые штаны. Это какой-нибудь бедняк вырядился так, чтобы пойти к своей любовнице.

Наконец они ушли, и путники могли подняться на ноги.

Это, видно, начальник дворцовой стражи делал ночной обход, – разговаривали они между собой смеясь. – Душа в пятки ушла от страха. «Домушники с белыми ногами». Ловко придумали. Вот потеха!

– Ну, идем скорее домой! – воскликнул Митиёри. – Мы перемазались в навозе. От нас дурно пахнет. Если явимся в таком виде к нашим возлюбленным, то нас ждет плохой прием. Еще, чего доброго, отвернутся от нас.

Меченосец прыснул от смеха.

– О нет! Если мы придем в такой проливной дождь, то докажем нашу преданность. Им покажется, что от нас исходит не вонь, а сладчайшее благоуханье. К тому же мы уже прошли более половины дороги. Домой возвращаться – дальше. Прошу вас, будем продолжать наш путь.

Митиёри согласился с ним в душе, что жалко будет упустить такой случай доказать Отикубо, насколько глубока его любовь, и снова пустился в дорогу.

Ворота были уже закрыты на ночь, и они с трудом достучались.

Меченосец провел молодого господина в свою комнату.

– Прежде всего нам нужна вода, – сказал он и, обмыв ноги Митиёри, помылся сам.

– Встанем утром пораньше и уйдем затемно. Нечего мешкать. Вид у нас самый плачевный, – решил Митиёри и постучал в окно комнаты своей возлюбленной.

Отикубо была полна печали, думая, что ее покинули, – так скоро и так жестоко! Но больше всего она боялась, что строгая мачеха все узнает…

Бедняжка глаз не могла сомкнуть.

Уткнувшись в свою подушку, она заливалась слезами. Акоги, огорченная тем, что все ее труды пропали даром, лежала, опершись на руку, напротив своей госпожи. Услышав стук, она проворно вскочила.

– Что это? Кажется, в окно постучали…

– Отоприте! – послышался голос.

Изумленная Акоги подняла решетчатую створку, и Митиёри появился в комнате, но в каком виде! На нем сухой нитки не было.

«Неужели пешком?» – подумала Акоги. Чувство радостной благодарности переполнило ее сердце до краев.

– Как случилось, что вы так промокли? – спросила она.

– Да вот твой муж, Корэнари, все тревожился, что ему предстоит строгий расчет с твоей госпожой, и мне стало его жаль. Я тоже закатал свои хакама до самых колен, подвязал шнурками – и в путь! Но по дороге упал прямо в грязь, – говорил он, торопливо раздеваясь. Акоги накинула на него одежду своей госпожи.

– Дайте сюда, высушу! – сказала она, принимая от него сырое платье.

Митиёри подошел к своей возлюбленной и сказал с упреком:

– Разве я не заслужил того, чтобы меня крепко обняли и сказали мне: «Ах, в каком виде вы пришли, бедный мой!» Он протянул к ней руки и почувствовал, что рукава ее слегка влажны. «Так, значит, она плакала!» Митиёри был тронут и сложил такую начальную строфу:

О том, что грустила ты,
Без слов говорят
Твои рукава.

Отикубо закончила танку, молвив в ответ:

Ах, это печалится дождь,
Узнав о моей судьбе.

– Вы говорите, что дождь печалится о вашей судьбе? Но тогда зачем же он льет понапрасну? Ведь я здесь! – И он опустился на ложе рядом с ней.

Акоги красиво уложила печенье на крышке ларца и подала со словами:

– Отведайте, пожалуйста! Митиёри отозвался:

– Сил нет, как спать хочется.

– Ах, что вы! Нынче вечером непременно надо съесть немного этого печенья.

– Почему? – поднял он голову и увидел «печенье третьей ночи». «Кто это так красиво его приготовил? – подумал Митиёри. – Значит, меня ждали!» Ему вдруг стало смешно. – Ах, это мотии! Я слышал, что новобрачных угощают этим печеньем, согласно старинному обряду. Что за обряд такой?

– А вы будто до сих пор не знаете? – ехидно заметила Акоги.

– Конечно, нет. Когда же одинокому холостяку случается пробовать свадебное печенье?

– Новобрачный должен съесть три штуки.

– Просто-напросто? Как это обыденно! Три штуки? А сколько же должна съесть новобрачная?

– Сколько ее душе хочется, на это нет правил, – засмеялась Акоги.

– Ну, тогда и вы отведайте, – сказал он Отикубо, но она смущенно отказалась.

Митиёри с торжественным видом съел три штуки.

– А что, молодой муж Саннокими тоже ел это печенье, как я?

– Уж само собой, ему тоже подавали, – улыбнулась Акоги.

Было уже поздно, и молодые скоро уснули.

Акоги пошла к меченосцу. Он был еще совсем мокрый и сидел, съежившись в комок от холода.

– Как ты промок! Зонта, что ли, не было?

Меченосец тихим голосом рассказал ей про встречу с ночной стражей.

– Ну, что ты скажешь? О такой пылкой страсти мир не слыхал ни в наше время, ни в седую старину, – смеясь, заметил он. – Согласись, что такая любовь беспримерна!

– Да, конечно, он увлечен, – ответила Акоги. – Это правда! Но любит он далеко еще не так сильно, как надо бы.

– «Не так сильно»! Сказала тоже! Женщина всегда тем и досаждает, что никак не возьмет в толк, к чему обязывает человека его положение в свете. А по мне, любую обиду можно простить за один такой сердечный порыв, какой был у него этой ночью.

– Это ты в свою пользу говоришь, – отозвалась Акоги, засыпая. И вдруг у нее вырвалось: – Нет, правда, какой был бы ужас, если б он сегодня не пришел!

Беседуя так, они уснули.

Ночь близилась к концу. Забрезжил рассвет. Митиёри не хотелось расставаться со своей возлюбленной.

– Зачем торопиться домой? Кругом все еще тихо, – говорил он.

Акоги места себе не находила от беспокойства. Ведь именно сегодня ее господа должны были вернуться из поездки в Исияма. Соберется много людей, кто-нибудь и сюда может заглянуть по дороге. Она торопливо хлопотала, чтобы подать поскорее завтрак и воду для умывания.

Меченосец заметил встревоженный вид Акоги.

– Ты что суетишься?

– Как же мне быть спокойной? Он в такой тесной комнатке, там негде спрятаться, все на виду… Я в ужасном страхе, вдруг кто-нибудь придет.

– Велите подать мой экипаж. Я сейчас тихонько выйду, – сказал Митиёри. Но в эту самую минуту послышался шум голосов. Это вернулись господа и слуги, ездившие на поклонение в Исияма. Теперь экипаж ни к чему. Митиёри уже не мог покинуть дом.

У Отикубо сердце разрывалось от страха при мысли, что сейчас кто-нибудь заглянет в ее каморку. Акоги тоже не помнила себя от испуга. Но даже в таком смятении чувств она не забыла подать молодому господину поднос с хорошо приготовленным завтраком и воду для умывания. А между тем прибывшим господам понадобилась служанка. Не успела мачеха выйти из экипажа, как начала кричать во весь голос:

– Акоги! Акоги!

– «О, несчастье!» – Акоги поспешно отодвинула сёдзи, которые отгораживали ее клетушку в маленьком домике, и выбежала, даже не закрыв за собой скользящую дверь. Когда она пришла на веранду главного дворца, госпожа Китаноката язвительно сказала ей:

– Все наши спутники устали с дороги и пошли отдохнуть. Ты все время ничего не делала, а между тем даже не сочла нужным выйти нам навстречу. Помни: самые неприятные слуги – это те, которые держат чью-нибудь сторону против своих господ и умеют только досаждать. Можешь отправляться к своей Отикубо.

Акоги в душе обрадовалась, но постаралась сделать виноватое лицо.

– Простите, пожалуйста! Вы так внезапно приехали, что я не успела переодеться.

– Хорошо, хорошо. Подай скорее умываться.

Акоги поторопилась уйти, не чуя под собой ног от радости. Тем временем поспел завтрак. Она сбегала на кухню, выпросила у стряпухи немного разных лакомств в обмен на белый рис, полученный ею от тетки, и подала Митиёри отличный завтрак. Митиёри, знавший, что его возлюбленная во всем терпит недостаток, изумился такому изысканному угощению. «Где только Акоги все это раздобыла?» – думал он.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.